

ПИСЬМА

I

309

Платон¹ желает Дионисию благополучия

Проведя у вас столь долгое время и занимаясь устройством вашей власти², я, которому было оказано доверия больше, чем кому бы то ни было (от чего вам были немалые выгоды), вынужден был подвергаться нареканиям и тягостной клевете. Я стойко перенес это, ведь я знал, что ни одна жестокость не покажется вам совершенной с моего согласия: мои свидетели — все, вместе с вами принимавшие участие в управлении государством. За многих из них я заступился сам, избавив их от немалого наказания. И вот, столько раз облеченный неограниченной властью, хранитель вашего государства, я выслан из него, подвергшись при этом бесчестью, какое не выпадает даже на долю нищего: вы велите мне отплыть восвояси — мне, проведшему с вами столь долгое время!

Да, в дальнейшем я обдумаю собственный образ жизни, который еще более отдалит меня от людей; ты же, «оказавшись таким тираном, останешься в одиночестве»³. Твой «щедрый» денежный дар, данный мне в путь, везет тебе обратно Бакхей⁴, податель сего письма, ведь его мало даже на путевые расходы, да и для остальной жизни пользы от него никакой. Тебе, дарителю, он принесет полное бесславие, да и мне не меньшее, если я его возьму. А потому я его и не беру. Тебе же, очевидно, все равно, что получить, что дать столь «великую» сумму; а посему, приняв доставленное, окажи этим услугу кому-либо другому из твоих друзей, как ты хотел оказать ее мне, ведь я уже не раз получал от тебя тажке одолжения. И кстати, на случай, если другие дела твои пошатнутся, я хочу привести тебе один стих Еврипида⁵:

выразиться, каждому эллину о нас известно и дружба наша у всех на слуху. Так имей же в виду, что и впредь о ней молчать не будут. Ведь людям, которым эта дружба сделалась известна, она не может не представиться чем-то значительным и бурным.

Но к чему я это сейчас говорю? Скажу, начав издалика. По самой природе разум и великая власть стремятся соединиться вместе⁴; каждое из них гонится за другим, стремится к нему и с ним сочетается. А потом людям доставляет удовольствие, когда они сами говорят об этом или слышат от других в частных беседах или в произведениях поэтов. Например, когда люди говорят о Гиероне и о Павсании Лакедемонском⁵, они радуются, повествуя об их дружбе с Симонидом и сообщая, что Симонид сделал для тех или им сказал. Обычно они восхваляют также Периандра Коринфского и Фалеса Милетского, Перикла и Анаксагора, Креза и Солона как мудрецов, а Кира — как властелина⁶. Подражая этому, поэты объединяют Креонта с Тиресием, Полиида — с Миносом, Агамемнона и Нестора — с Одиссеем и Паламедом; и, как мне кажется, по той же причине древние люди соединили Прометея с Зевсом⁷. Одних они показывают находящимися в разногласии, других — во взаимной дружбе, а иных — то в дружбе, то во вражде и воспевают их то как единомышленников, то как противников. Все это я говорю к тому, что хочу показать: когда мы умрем, и о нас самих не умолкнут речи. Так что об этом надлежит позаботиться. Необходимо, по-видимому, подумать и о будущих временах. Именно в силу какого-то природного свойства люди с рабской душой несколько об этом не заботятся, а люди достойные делают все, чтобы в будущем о них хорошо отзывались. И это я считаю неким свидетельством, что умершие ощущают происходящее здесь, на земле: лучшие души обладают предчувствием, что дело обстоит именно так, а никчемные этим предчувствием не обладают. При этом, конечно, важнее предчувствие божественных людей, чем тех, которые не таковы. И я думаю о тех, о ком говорил выше, что, если бы им возможно было исправить свои взаимные отношения, они бы очень о том порадели, дабы о них шла лучшая молва, чем теперь. Также и нам, с божьей помощью, можно пока, если что в наших прежних отношениях было нехорошего, выправить это и словом, и делом. Тем самым установится истинное мнение относительно философии, и если мы сами будем вести себя достойно, то и

слава о нас будет лучше, если же мы будем плохими, то и слава будет дурна. Коль скоро мы станем об этом заботиться, мы поступим самым благочестивым образом, если же не станем — самым нечестивым.

Как все это должно быть и чего требует справедливость, я сейчас скажу. Когда я прибыл в Сицилию ⁸, мне сопутствовала слава, что я во многом превосхожу тех, кто занимается философией; придя в Сиракузы, я хотел и тебя заполучить в свидетели этого, дабы в моем лице философия почиталась и в глазах большинства. Но все случилось не в добрый час. Причиной этого я считаю не то, что могли бы счесть многие, но другое: оказалось, что ты не очень доверяешь мне и хочешь каким-то образом меня отослать, а пригласить других, причем ты стремился узнать, каковы мои цели, как мне кажется, не питая ко мне доверия. Таких, кто громко об этом кричал, было много; они говорили, что ты презираешь меня и что мысли у тебя направлены на другое. Эта крикливая молва распространилась. Выслушай же, что в этом случае следует делать, дабы затем я мог ответить на твой вопрос, как должны сложиться наши взаимоотношения. Если ты вообще пренебрегаешь философией, брось ее; если же ты слышал от другого или сам нашел то, что тебе нравится больше моего учения, держись этого; а если тебе нравится моя учение, то тебе нужно и мне оказывать высокий почет. Так же, как поначалу, ты веди, а я последую за тобой. Чтимый тобой, я буду чтить тебя, если же я у тебя не заслуживаю почета, то, устранившись, я удалюсь на покой. Оказывая мне почет и подавая в этом пример, ты обнаружишь, что чтить философию; а то, что ты старался ознакомиться и с другими учениями, принесет тебе в глазах многих славу как подлинному философу. Если же я стану оказывать тебе почтение, хотя бы ты меня и не чтил, люди подумают, что я ослеплен богатством и стремлюсь к нему, а мы знаем, что это ни у кого не заслуживает одобрения. Подводя всему итог, скажу: если будет почет с твоей стороны, честь и слава обоим; если же его буду оказывать я один, обоим ждет стыд. Но об этом достаточно.

Что касается маленького шара ⁹, то дело с ним обстоит не совсем правильно; тебе объяснит Архедем, когда придет. Ему также весьма необходимо дать объяснение и по поводу гораздо более важного и возвышенного вопроса, ради ответа на который ты его и послал, чтобы разрешить свое недоумение. По его словам, ты говоришь,

что тобой недостаточно воспринято учение о природе первопричины. Я должен ответить тебе иносказательно, дабы если эта табличка испытает какие-либо превратности на суше и море, тот, кому она попадет в руки, ее бы не понял. Вот в чем дело: все тяготеет к царю всего ¹⁰ и все совершается ради него, он — причина всего прекрасного. Ко второму тяготеет второе, к третьему — третье. Человеческая душа стремится познать, каково все это, взирая на то, что ей родственно; однако из родственного ничто ее не удовлетворяет. Что же касается царя и того, о чем я сказал, то там нет ничего подобного — и вот приходит душа и вопрошает: что же это такое? В этом и заключается твой вопрос, о сын Дионисия и Дориды ¹¹, и в нем-то причина всех бед, а скорее это прирожденная нашей душе боль, которую если не исторгнуть, никто никогда не постигнет подлинной правды.

Когда мы были в садах, под лаврами, ты мне сказал, что сам до этого додумался и это твое открытие. Я же ответил, что, если тебе так кажется, ты можешь освободить меня от многочисленных рассуждений. Я сказал также, что никогда не встречал никого, кто бы это открыл, и что вся моя деятельность была именно на это направлена. Ты же, возможно услышав это от кого-либо, видно, по божественному определению прямо устремился к этой цели, но необходимых твердых и связанных доказательств привести не мог — ведь у тебя их не было, — и ты мечешься от одной крайности к другой, подчиняясь воображению, на самом же деле здесь нет ничего подобного. Знай, что случилось это не только с тобой одним: всякий услышавший от меня впервые это учение вначале испытывал точно такое же состояние. Одним это доставляло немало хлопот, другим меньше, и, хотя наконец они от этих забот избавлялись, все же никому не удавалось сделать это легко.

Раз дело обстоит таким образом, по-моему, мы уже почти нашли ответ на вопрос, который ты поставил передо мной, а именно, какие должны установиться между нами отношения. Поскольку ты исследуешь вопрос, призывая на помощь других, и рассматриваешь все это и само по себе, и наряду с их учениями, тобой все это будет усвоено, если только верно велось исследование, — и ты станешь ближе и им, и мне.

Но как же исполнится и это, и все то, о чем мы сказали? Ты правильно сделал, послав Архедема, но в даль-

нейшем, когда он придет к тебе и сообщит мои речи, у тебя, конечно, возникнут другие сомнения. Так вот, ты снова пошлешь, если только намерения твои правильны, ко мне Архедема, и он, как после торгового путешествия, прибудет к тебе обратно. Когда же ты повторишь это два или три раза и хорошо исследуешь мои послания, то я удивлюсь, если вопрос, по поводу которого ты теперь недоумеваешь, не станет тебе много яснее, чем раньше. Итак, смело действуй таким образом. Ибо не может быть более прекрасной и угодной богам торговли, чем та, с которой ты пошлешь Архедема, а он поедет. Остерегайся только, чтобы все это не стало достоянием людей невоспитанных. Мне кажется, для большинства нет почти ничего, что казалось бы смешнее таких вот мыслей; с другой стороны, для людей благородных духом нет ничего более дивного и вдохновляющего. Мысли эти часто высказываются и всегда выслушиваются, причем в продолжение многих лет, и, подобно золоту, насилу очищаются в результате значительных трудов. И послушай, что здесь наиболее удивительно. Дело в том, что многие люди, слышавшие это, причем люди восприимчивые, с сильной памятью, способные к исследованию и суждению, говорят, что лишь теперь, уже в преклонные лета, после того как они слыхали это не меньше тридцати лет назад, то, что им казалось тогда полностью недостовверным, представляется достоверным и совершенно ясным, а то, что раньше казалось вполне достоверным, представляется им теперь противоположным. Приняв это в соображение, остерегайся, как бы тебе не пришлось сожалеть о том, что сказанное теперь недостойным образом получило огласку. Более всего надо печься о том, чтобы ничего не записывать, но все познавать и усваивать: ведь невозможно, чтобы написанное не получило огласки. Поэтому я никогда ничего не писал о таких вещах, и на свете нет и не будет никакой Платоновой записи; а то, что теперь читают, — это речи Сократа¹², когда он, еще молодой, был прекрасен. Будь здоров, слушайся меня, а это письмо, прочтя его несколько раз, сожги.

Но довольно об этом. Ты удивился, что я послал к тебе Поликсена; я же и о Ликофроне¹³, и о других из твоего окружения говорил и продолжаю говорить, что в рассуждениях, по способу подхода к ним, а также по своим природным дарованиям, ты очень от них отличаешься, и ни один из них не допускает охотно, как полагают неко-

торые, опровержений, но лишь очень нехотя. При этом, как кажется, ты очень прилично обошелся с ними и удостоил их почетных даров. Ну и довольно о них: для таких людей этого более чем достаточно. Что же касается Филистиона, то, если ты сам хочешь его использовать, всецело им располагай, а также, по возможности, Спевсиппом¹⁴ и потом отошли его. Да и Спевсипп просит тебя об этом. Филистион обещал мне, что если ты отпустишь его, то он охотно приедет в Афины.

Ты хорошо сделал относительно того, кого ты отпустил из каменоломен¹⁵. Небольшая также просьба относительно его домашних и относительно Гегесиппа, сына Аристана¹⁶. Ведь ты написал мне, что, если кто обидит его или их и ты это заметишь, ты не дашь этим людям спуска. И относительно Лисиклида¹⁷ надо сказать правду: он единственный из тех, кто, прибыв в Афины из Сицилии, ничего не извратил в рассказах о наших с тобой отношениях, но говорит все хорошее и старается выставить происшедшее с наилучшей стороны.

III

«Платон Дионисию — радуйся»,—

написав так, правильно ли выразил бы я свое лучшее пожелание? Или скорее написав по своему обыкновению: «желаю благополучия», как я привык обращаться в письмах к своим друзьям? Как передали мне участники священного посольства, ты и сам обратился к богу в Дельфах¹ с таким льстивым выражением и, как говорят, сделал надпись:

Радуйся! Благостно жизнь сохраняй ты, довольный, тирану.

Я же ни в обращении к человеку, ни тем более к богу не выразил бы такого пожелания. Богу — потому что тем самым я побуждал бы его вопреки его божественной природе, ведь божество обитает далеко от удовольствия и страдания; а человеку — потому что много вреда приносит как удовольствие, так и страдание, порождая невосприимчивость, забывчивость, неразумие и высокомерие. Вот что хотел я заметить относительно приветствия. Ты же, прочтя это, какое хочешь принять приветствие, такое прими.

Немало людей утверждает, что ты говорил некоторым

посланцам, будто, когда ты в моем присутствии заявлял, а
что собираешься восстановить греческие города в Сици-
лии и тем облегчить участь сиракузян, переименовав
свою власть вместо тирании в царскую, я тебе, по твоим
словам, воспрепятствовал в этом, хотя ты этого очень же-
лал, а теперь, мол, я учу Диона сделать то же самое, и,
таким образом, пользуясь твоими же мыслями, мы отни-
маем у тебя твою власть ². Есть ли тебе какая польза от
таких разговоров, ты знаешь сам, но, говоря противопо-
ложное тому, что было на самом деле, ты меня обижа-
ешь. Из-за Филиста ³ и других довольно распространи-
лось обо мне наветов среди наемников и населения Сира-
куз, а все потому, что я жил с тобой в акрополе, а они вне
его, и любую происходившую ошибку приписывали мне,
говоря, что ты во всем слушаешься меня. Ты же лучше
всех знаешь, что о политических делах я по собственно- 316
му почину вел с тобой разговоры очень редко, и то внача-
ле, когда думал, что могу сделать что-либо значительное.
Всего этого было очень немного; чуть-чуть старания я
приложил к введениям в законы, а все остальное ты при-
писал сам либо кто-то другой. До меня доходят слухи,
что впоследствии иные из твоего окружения видоизме-
нили законы, и, конечно, они будут звучать как чужие
для тех, кто может судить о моем характере. Но, как
я сказал только что, не нужно на меня клеветать, говоря
перед сиракузянами или кем-нибудь еще, кого ты на-
деешься убедить; скорее я нуждаюсь в защите против
первой возникшей по поводу меня клеветы и против той, б
что возникла теперь, позднее, и оказалась значительно
более сильной. Итак, против этих двух клевет необходи-
мо провести и две защиты: во-первых, что я сознательно
избегал разговоров с тобой о государственных делах;
а во-вторых, что ты не говорил, будто с моей стороны был
какой-то совет или запрещение и что я не препятствовал
тебе, когда ты собирался заселить эллинские города. c
Итак, сначала выслушай мое оправдание по поводу упо-
мянутой мной первой клеветы ⁴.

Я прибыл в Сиракузы по приглашению твоему и Дио-
на ⁵, которого я очень высоко ставил; он был издавна мо-
им гостеприимцем и по возрасту был уже человеком
средних лет, с установившимся характером — как раз
то, что нужно тем, кто обладает пусть незначительным
умом, но собирается давать советы в таких значитель-
ных делах, какие были тогда у тебя. А ты был очень юн
и совершенно неопытен в том, в чем тебе необходимо бы-

а ло обладать большим опытом, мне же ты был совсем незнаком. После этого человек ли, бог или некая судьба при твоём содействии изгнала Диона и ты остался один. Можешь ли ты думать, что у меня тогда с тобой образовалась общность мыслей по поводу государственных дел, если ты погубил разумного советчика и, как я видел, остался, неразумный, окруженный многими другими негодными людьми? Если я видел, что ты не правитель, но лишь думаешь, что властвуешь, на самом же деле находишься под властью подобных людей? При таких обстоятельствах что было мне делать? Разве лишь то, что
е я поневоле и делал: отказался на будущее от всяких государственных дел, остерегаясь навлечь на себя клевету завистников, вас же, хотя вы были разобщены между собой и имели разные убеждения, всячески старался сделать по возможности близкими друзьями. Ты сам мне свидетель в том, что, стремясь именно к этой цели, я никогда не отказывался от своего намерения. И с трудом,
317 но все же мы согласились, чтобы я отплыл домой, так как война вас целиком захватила, с тем, чтобы, когда вновь наступит мир, я и Дион вернулись в Сиракузы ^б и ты призвал нас к себе. Вот что можно сказать о моем первом путешествии в Сиракузы и благополучном возвращении домой. А когда установился мир, ты вторично стал приглашать меня, но не так, как было договорено, а послав мне письмо, чтобы я прибыл один, за Дионом же ты, мол, пошлешь потом. Поэтому я не поехал; однако и Дион рассердился тогда на меня; он думал, что
б было бы лучше, если бы я послушался тебя и поехал. После этого, год спустя, прибыла триера и письмо от тебя; главным в этом письме было обещание, что если я прибуду, то все дела Диона устроятся так, как я мыслю; в противном же случае, писал ты, будет наоборот. Стыдно сказать, сколько пришло тогда писем от тебя и от других — по твоему приказу — и из Италии, и из Сицилии, и от скольких моих знакомых и близких. Все они настойчиво советовали мне ехать и просили меня во всем тебе довериться. Действительно, всем, начиная с Диона, казалось, что мне надо незамедлительно плыть. Хотя я и указывал им на свой возраст и относительно тебя упорно говорил, что ты не сумеешь противдействовать моим клеветникам и тем, кто захочет разжечь между нами вражду, ведь я и раньше видел и вижу теперь, что огромные, чрезмерные состояния как частных лиц, так и монархов почти всегда, чем они больше, тем больше воспи-

тывают число клеветников и добавляют к удовольствиям позорный вред; это — зло, хуже которого не рождает обогащение и возможность других злоупотреблений.

Так вот, оставив в стороне все эти соображения, я отправился, полагая, что никто из моих друзей не должен меня обвинять в том, будто из-за моей нерадивости их личное имущественное положение, которое могло бы не потерпеть ущерба, все же его потерпело. По моему прибытию (ты ведь сам хорошо знаешь, что затем произошло) я стал просить, чтобы, согласно твоему обещанию, данному в твоих письмах, ты прежде всего возвратил бы Диона, вернув ему свое расположение; я говорил о вашем родстве, и если бы ты послушался меня, то, как подсказывала мне моя прозорливость, было бы лучше, чем теперь, и тебе, и сиракузянам, и другим эллинам. Затем я просил, чтобы имущество Диона ты вернул его родным, а не допустил распоряжаться этим имуществом управляющих, которых ты хорошо знаешь. К тому же я полагал, что нужно каждый год посылать причитающиеся ему деньги; особенно же я настаивал, чтобы они были посланы во время моего пребывания. Не добившись ничего, я стал просить тебя об отъезде. Ты же после этого стал убеждать меня остаться еще на год, говоря, что, продав все состояние Диона, ты половину денег пошлешь в Коринф⁷, а половину оставишь для его сына.

И еще многое мог бы я указать из того, что ты пообещал, но не сделал; однако ввиду многочисленности таких случаев я это опускаю. В самом деле, когда ты произвел продажу всех вещей Диона безо всякого его на то согласия, — хотя ты и говорил, что без его согласия не будешь этого делать, — ты увенчал, удивительный ты человек, все свои обещания чисто мальчишеским поступком, ты изобрел вещь не очень красивую, не очень складную, несправедливую и бесполезную, чтобы меня запугать (словно я не знал тогдашних дел!) и я не добивался бы отправки денег Диону. Ведь, когда ты изгнал Гераклида, это ни сиракузянам, ни мне не показалось справедливым, и, так как я вместе с Феодотом и Еврибием⁸ просил тебя не делать этого, ты воспользовался этой просьбой как достаточным поводом и сказал, будто тебе уже давно было ясно, что о тебе я нисколько не забочусь, а лишь пекусь о Дионе и его друзьях и близких; и теперь, когда Феодот и Гераклид находятся под подозрением, так как

это люди, близкие Диону, я, мол, готов применить все средства, чтобы они не понесли наказания.

Вот в каком духе были эти мои собеседования с тобой о политике; если же ты усмотрел какое-то иное разногласие между нами, знай, что все произошло отсюда. И не удивляйся: всякому разумному человеку я, по справедливости, показался бы совсем ничемным, если бы под влиянием величия твоей власти предал бы старинного друга и гостя, по твоей милости попавшего в тяжелое положение; ведь он, так сказать, ничуть не хуже, а я вдруг предпочел бы тебя, причиняющего ему обиду, и стал бы делать все, как ты прикажешь, причем было бы ясно, что из-за денег. Никакого другого основания никто не мог бы привести для моего предательства, если бы я так переменялся. Но все это, происходившее таким образом, сделало по твоей вине то, что дружба наша напоминала дружбу волков и не было между нами никакого согласия.

Речь моя теперь непосредственно переходит ко второму моменту защиты, о котором я говорил. Следи и всячески наблюдай, не покажется ли тебе, что я лгу и говорю вопреки истине. Я утверждаю, что в саду, в присутствии Архедема и Аристокрита⁹, приблизительно дней за двадцать до моего отъезда из Сиракуз домой, ты говорил то же самое, что, упрекая меня, говоришь и теперь, а именно, будто бы я больше забочусь о Гераклиде и обо всех других, чем о тебе. И в их присутствии ты спросил меня, помню ли я, что в самом начале, когда я сюда прибыл, я настойчиво советовал тебе восстановить греческие города. Я подтвердил, что помню это и что и теперь мне это кажется наилучшим. Следует упомянуть, Дионисий, и то, что было сказано тогда еще сверх этого. Я спросил тебя, только ли это одно я тебе советовал или, кроме того, и что-то другое. Ты же с гневом и в оскорбительной для меня форме, желая меня обидеть (сейчас-то тогдашняя твоя дерзость совершенно очевидна), сказал, смеясь очень натянуто, как я помню, следующее: мол, ты мне советовал делать все, обучившись, или не делать этого вовсе. Я заметил, что ты все хорошо это помнишь. «Значит, — сказал ты, — обучившись геометрии, или ты имеешь в виду что-то иное?» После чего я не сказал того, что хотел сказать, боясь, как бы из-за какого-нибудь небольшого словца путь моего отплытия, на которое я рассчитывал, не стал бы вместо широкого узким.

Но вернемся к тому, из-за чего все это говорится:

не клевети на меня, говоря, что я не позволил тебе восстановить разрушенные варварами эллинские города и облегчить положение сиракузян, установив вместо власти тирана царскую власть. Утверждая это, тебе трудно налгать на меня, ибо ты приписываешь мне то, что не соответствует моему характеру. Кроме того, уличая тебя, я мог бы привести еще более явные доводы, если бы существовал сведущий суд. Я сказал бы, что настойчиво тебе советовал, ты же не хотел исполнять. А ведь нетрудно ясно показать, что, будь все так сделано, это было бы самым лучшим и для тебя, и для сиракузян, и для всех сицилийцев. Но, милейший, если ты утверждаешь, что не говорил этого, хотя ты это и говорил, я удовлетворен; если же ты признаешься, то сочти мудрецом Стесихора¹⁰ и, подражая его палинодии, измени свои лживые речи на справедливые.

IV

Платон Диону Сиракузскому желает благополучия

Думаю, что в течение всего этого времени было очевидным мое рвение относительно всех предстоящих дел и то, что я прилагал много усилий, чтобы помочь тебе привести их к благому концу; делал я это не по какой-либо иной причине, но из-за искреннего честолюбия, направленного на прекрасное. Ведь я считаю справедливым, чтобы люди, поистине благородные и поступающие соответственным образом, получили и подобающую им славу. В настоящее время, хвала богу, дела находятся в хорошем положении, что же касается будущего, то предстоит великое состязание¹. Ведь возможность отличиться храбростью, быстротой, силой может показаться достоянием и других людей, а вот что касается справедливости, правдолюбия, великодушия и связанной со всем этим благопристойности, всякий согласился бы, что стремящиеся чтить все это, естественно, отличаются от всех других. То, что я говорю сейчас, ясно; однако нам самим следует помнить, что мы должны отличаться от других людей, несомненно, больше, чем взрослые отличаются от детей. Мы ясно должны показать всем, что мы такие, как мы говорим, особенно когда, с божьей помощью, это легко сделать. Ведь другим пришлось в силу необходимости немало поскитаться по разным ме-

стам, чтобы стать известными; твое же положение таково, что взоры людей всей Земли, — может быть, это смело сказано, — направлены в одну точку, а в ней главным образом — на тебя. Итак, будучи человеком, на которого обращено общее внимание, готовься показать себя древним Ликургом, или Киром ², или любым другим, кто когда-либо, как казалось, отличался и характером, и знанием государственных дел. Это необходимо, тем более что многие, можно сказать даже все живущие в ваших краях, говорят, будто с падением Дионисия вполне можно ожидать, что дела придут в упадок из-за честолюбия твоего, Гераклида, Феодота и других знатных лиц ³. Самое важное, таким образом, чтобы никто из вас не мог стать таким, а если бы кто таким и стал, явись ты врачом-е 321 к лучшему. Может быть, тебе кажется смешным то, что я говорю, потому что ты и сам хорошо это знаешь. Но даже в театрах я наблюдаю, как дети подбадривают актеров криками, не говоря уже о друзьях: всякий ведь понимает, что они дают советы из рвения и расположения. Итак, ведите теперь борьбу сами и, если вам что-нибудь нужно, пишите нам, здесь все приблизительно в том же положении, как тогда, когда вы тут были. Пишите, что вами б 322 сделано и что еще приходится делать. Ведь мы, питаясь слухами, на самом деле пребываем в неведении. Много писем приходит теперь от Феодота и Гераклида в Лакедемон и Эгину, мы же, как я сказал, многое слыша о тамошних событиях, все-таки ничего не знаем.

Подумай и о том, что в глазах некоторых ты кажешься менее доброжелательным, чем следовало бы быть; пусть же от тебя не скроется, что благодаря расположению со стороны людей возможно и действовать; а гордость, наоборот, спутница одиночества. Будь счастлив!

V

Платон желает Пердикке ¹ благополучия

Я посоветовал Евфрею ², как ты поручил мне, чтобы он уделял время заботе о твоих делах; я считаю себя вправе дать тебе дружественный и, как говорят, священный совет и относительно других дел, о которых ты мог бы мне сказать, а также о том, как ты должен использовать Евфрея. Человек этот полезен во многих отношениях, особенно же в том, в чем ты теперь особенно нуж-

даешься как вследствие своего возраста, так и потому, что мало у молодых людей находится в этом деле советников. Ведь, право, у каждого политического строя, как и у разных живых существ, свой особый язык: один — у демократии, другой — у олигархии, а еще иной — у монархии. Весьма многие могли бы сказать, что они знают эти наречия, но, за исключением малого числа людей, никто не может их понять. Тот государственный строй, который обращается к богам и к людям на своем собственном языке и совершает соответствующие поступки, всегда процветает и сохраняется невредимым, тот же, который подражает чужому языку, погибает. И в этом отношении Евфрей был бы для тебя очень полезен, хотя и в других отношениях он человек мужественный; надеюсь, он найдет оправдания для монархии не хуже тех, кто составляет твое окружение. Если ты употребишь его на это, ты и сам извлечешь пользу, и ему во многом поможешь. 322

Если же кто, услышав это, скажет: «Платон, как кажется, делает вид, будто он знает, что полезно для демократии; но, хотя ему можно говорить в народном собрании и советовать народу самое лучшее, он ни разу не поднялся с места и ни слова не произнес», — на это надо ответить: «Платон слишком поздно родился для своей страны и застал народ постаревшим и вдобавок приученным его предшественниками делать многое, не соответствующее его мнениям. Он охотно бы, как родному отцу, помогал ему, если бы не считал, что напрасно подвергает себя опасности, без всякой надежды на успех». Такая же участь, думаю я, постигла бы и совет, данный мною. Ведь если бы [народу] показалось, что я неизлечимо болен, он распростился бы со мной, бросив и думать обо мне самом и моих советах. Будь счастлив. ь с

VI

*Платон Гермию, Эрасту и Кориску¹
желает благополучия*

Мне кажется, что кто-то из богов, исполненный к вам благосклонности, в изобилии послал вам счастливую судьбу, если только вы сумеете ею хорошо воспользоваться: все вы живете по соседству и имеете полную возможность оказывать друг другу помощь в самых важных делах. Для Гермия ни количество его коней, ни d

иная военная мощь, ни приток золота не могли бы иметь большего значения во всех случаях жизни, чем поддержка верных и мыслящих здраво друзей; Эрасту же и Кориску, владеющим мудрым учением об идеях, столь прекрасным, как я утверждаю, «хотя я уже и старик» ², недостает умения сохранять себя от дурных и несправедливых людей и силы для самозащиты. Ведь они неопытны в этом, так как большую часть своей жизни провели с нами, людьми умеренными и непорочными. Я сказал, что им этого недостает, с той целью, чтобы им не пришлось забросить истинную мудрость и начать по необходимости заниматься обыденной человеческой мудростью больше, чем следует. С другой стороны, этим даром, как мне кажется, обладает Гермий (я говорю это, 323 не будучи с ним знаком ³) как от природы, так и в силу умения, добытого опытом.

Но к чему я веду свою речь? Так как я знаю Эраста и Кориска лучше, чем ты, то я говорю тебе, Гермий, настойчиво указываю и свидетельствую, что нелегко найдешь ты людей с характером, заслуживающим большего доверия, чем у этих твоих соседей. Поэтому я советую тебе любым справедливым способом держаться этих людей и не считать это для себя лишним делом. В свою очередь Кориску и Эрасту я советую держаться Гермия и стараться при помощи столь тесных отношений добиться полного дружеского слияния. Но если покажется, что кто-нибудь из вас разрушает этот союз — ведь ничто человеческое не бывает прочным, — пришлите сюда ко мне или к моим близким письмо — ходатая по вашим жалобам: думаю, что слова, которые придут от нас, основанные на совести и справедливости, если только разногласие не окажется слишком сильным, лучше любого заклинания соединят вас и свяжут вновь, восстановив прежнюю дружбу и общность. Если мы все вместе будем стремиться к подобной мудрости, насколько это каждому дано, то наши нынешние пророчества осуществляются. О том, что будет, если мы этого делать не станем, я молчу. Я изрекаю лишь слова добра и говорю: все это будет сделано нами к добру, если захочет бог.

Необходимо, чтобы все трое прочли это письмо, лучше всего — сообща; если же это не получится, читайте по двое, по возможности вместе и как можно чаще. Вы должны смотреть на это письмо как на договор, как на главный закон и по справедливости должны принести клятву со всей серьезностью, но не с той серьезностью,

которая неприятна, а с родственной ей шуткой, клянясь именем бога, владыки сущего и предстоящего, и именем могущественного родителя этого владыки и виновника [существующего], которого, если мы подлинны философы, мы ясно познаём, насколько это возможно блаженным людям ⁴.

VII

Платон родственникам и друзьям Диона желает благополучия

Вы мне написали, что я должен считать и быть уверенным в том, что ваши замыслы — те же самые, какие были у Диона, и что поэтому вы усиленно предлагаете мне, насколько возможно, и словом, и делом оказывать вам содействие. Я же, если у вас то же мнение и те же цели, какие были у него, согласен вместе с вами вести общие дела; в противном случае я еще не раз подумаю. Каковы были его замыслы и цели, об этом я могу сказать не по догадке, а с полной уверенностью. Когда я впервые прибыл в Сиракузы, будучи примерно сорока лет от роду, Дион был такого возраста, как теперь Гиппарин ¹; и какого мнения он был тогда, такого же остался и до конца, а именно он считал, что сиракузяне должны быть свободными и жить под управлением наилучших законов. Так что нет ничего удивительного, если кто-нибудь из богов внушил Гиппарину то же самое мнение относительно государственного устройства и сделал его единомышленником Диона. Каким образом родилось это мнение, поучительно послушать и молодым и пожилым; я постараюсь изложить вам это с самого начала. Ведь теперь самое подходящее для этого время.

Когда я был еще молод, я испытал то же, что обычно переживают многие: я думал, как только стану самостоятельным человеком, тотчас же принять участие в общегосударственных делах. Однако вот что выпало мне на долю в делах государственных: так как тогдашний государственный строй со стороны многих подвергался нареканиям, произошел переворот, во главе которого стоял пятьдесят один человек, из них одиннадцать распоряжались в городе, десять — в Пирее (те и другие наблюдали за рынком и за всем тем, что нужно было привести в порядок в столице и гавани), остальные же тридцать обладали неограниченной властью. Некоторые

из них были моими родственниками и хорошими знакомыми². Они тотчас же стали приглашать к себе и меня, считая это для меня вполне подходящим делом. Я же, будучи молод, не видел во всем этом ничего необычного. Ведь я был убежден, что они отвратят государство от несправедливости и, обратив его к справедливому образу жизни, сумеют его упорядочить, и потому с большим интересом наблюдал за ними: что они будут делать? И вот я убедился, что за короткое время эти люди заставили нас увидеть в прежнем государственном строе золотой век! Вот один из примеров: старшего моего друга, дорогого мне Сократа, которого я, не обвиняясь, могу назвать справедливейшим из живших тогда людей, они вознамерились послать вместе с другими за кем-то из граждан, чтобы насильно привести его и затем казнить, — конечно, с той целью, чтобы и Сократ принял участие в их деяниях, хочет ли он того или нет. Но он не послушался их, предпочитая подвергнуться любой опасности, чем стать соучастником их нечестивых деяний³. Так вот, видя все это и многое другое в том же роде, я вознегодовал и устранился от всех этих зол. Немного времени спустя пала власть Тридцати и весь этот государственный строй. Вновь, но уже более сдержанно стала меня увлекать жажда общественной и государственной деятельности. Но и тогда, поскольку времена были смутные, происходило многое, что могло бы вызвать чье-то негодование, и потому нет ничего удивительного, что отдельные лица особенно сильно мстили своим врагам во время переворота. Однако те, что вернулись тогда в Афины, проявили большую терпимость⁴. Но по какому-то злему року некоторые тогдашние властители снова вызвали в суд моего друга Сократа, предъявив ему нечестивейшее из обвинений, менее всего ему подходившее: одни выставили его на суд как безбожника, другие же произнесли обвинительный приговор и казнили того, кто сам не пожелал в свое время принять участие в нечестивом обвинении против одного из друзей-изгнанников, когда и сами изгнанники были в тягостном положении⁵.

Я видел все это, а также людей, которые ведут государственные дела, законы и царящие в государстве нравы, и, чем больше я во все это вдумывался и становился старше, тем все более трудной задачей мне стало казаться правильное ведение государственных дел. Без друзей и верных товарищей казалось мне невозможным чего-то достичь, а найти их, даже если бы они существовали,

было не так легко, ведь наше государство уже не жило по обычаям и привычкам наших отцов, найти же других, новых людей так запросто невозможно. Писанные законы и нравы поразительно извратились и пали, так что у меня, вначале исполненного рвения к занятию общественными делами, когда я смотрел на это и видел, как все пошло вразброд, в конце концов потемнело в глазах. Но я не переставал размышлять, каким путем может произойти улучшение нравов и особенно всего государственного устройства; что же касается моей деятельности, я решил выждать подходящего случая. В конце концов относительно всех существующих теперь государств я решил, что они управляются плохо, ведь состояние их законодательства почти что неизлечимо и ему может помочь разве только какое-то удивительное стечение обстоятельств. И, восхваляя подлинную философию, я был принужден сказать, что лишь через нее возможно постичь справедливость в отношении как государства, так и частных лиц. Таким образом, человеческий род не избавится от зла до тех пор, пока истинные и правильно мыслящие философы не займут государственные должности или властители в государствах по какому-то божественному определению не станут подлинными философами⁶.

С такими мыслями я прибыл впервые в Италию и Сицилию. Когда же я приехал, тамошняя пресловутая блаженная жизнь, заполненная всевозможными италийскими и сиракузскими пиршествами, никак не пришлась мне по душе. Не понравилось мне и наедаться дважды в день до отвала, а по ночам никогда не спать одному и также всякие другие привычки, связанные с подобной жизнью. Естественно, что никто из людей, живущих под этим небом, с юности воспитанный в таких нравах, не мог бы никогда стать разумным; даже если он одарен чудесными природными задатками, он при этих условиях даже не подумает стать рассудительным; то же самое относится и к прочим частям добродетели. В то же время никакое государство не сможет наслаждаться покоем, опираясь на законы, как бы хороши они ни были, если люди будут считать, что все нужно тратить на чрезмерную роскошь и что они ни к чему не должны прилагать никаких усилий, разве только к обжорству, пьянству и к любовным утехам. Такие государства неизбежно то и дело меняют формы правления, становятся то тираниями, то олигархиями, то демократиями, и нет этим переменам конца. Властители таких государств не могут

слышать даже имени справедливого и равноправного строя. И вот, придя к такому сознанию сверх прежних моих убеждений, я отправился в Сиракузы, надо думать, по воле судьбы. Видимо, кто-то из высших существ задумал тогда положить начало тому, что ныне случилось с Дионом и Сиракузами; и нужно опасаться, что это случится с еще большим числом людей, если вы теперь не послушаете меня, вторично дающего вам свой совет.

327 Каким образом, считаю я, мое тогдашнее прибытие в Сицилию послужило толчком ко всем дальнейшим событиям? Я познакомился и сблизился с Дионом, бывшим тогда, как мне кажется, совсем юным. В беседах я излагал ему в рассуждениях то, что, по моему мнению, является наилучшим для людей, и советовал ему осуществлять это на практике; видимо, сам того не зная, я каким-то образом бессознательно подготавливал падение тирании. Что же касается Диона, то он был очень восприимчив ко всему, а особенно к тому, что я тогда говорил; он так быстро и глубоко воспринял это, как никто из юношей, с которыми я когда-нибудь встречался; возлюбив добродетель больше удовольствий и прочей роскоши, он всю остальную жизнь пожелал прожить не так, как большинство италиков и сицилийцев. Поэтому, становясь все больше ненавистным тем, кто жил по законам тирании, он прожил так вплоть до самой смерти Дионисия [Старшего] ⁷. Приняв упомянутое решение, он заметил, что не у него одного такой образ мыслей, который он получил, слыша справедливые речи. Присматриваясь, он замечал, что есть это и у других, правда не очень многих, но все же есть у некоторых, в числе которых, как он решил, мог бы, вероятно, с божьей помощью, быть и Дионисий; действительно, если бы он оказался таким, то и его собственная жизнь и жизнь других сиракузян стала бы несказанно блаженной. Сверх того, он думал, что при всех обстоятельствах я должен возможно скорее прибыть в Сиракузы как соучастник и помощник во всех этих делах, помня о нашей взаимной дружбе и о том, с какой легкостью получилось, что он почувствовал страстное стремление к прекрасной и совершенной жизни. Вот и теперь, если бы ему удалось вызвать такое настроение у Дионисия, как он попытался, он имел бы большую надежду, без избиений и казней, без всех совершившихся зол, устроить во всей стране счастливую и справедливую жизнь. На основании этих правильных размышлений Дион убедил

Дионисия послать за мной и сам, посылая мне письма, просил меня, невзирая на обстоятельства, возможно скорее прибыть, пока другие ⁸, находящиеся при Дионисии, не вовлекут его в иную жизнь, отведя от лучшей. Он просил об этом, говоря следующее (хотя передать все это было бы слишком долгим): «Какого более благоприятного времени, — писал он, — можем мы ожидать, чем выпавшее нам теперь на долю по какому-то божественному соизволению?» Далее он перечислял власть над Италией и Сицилией, свое собственное влияние в этом государстве, молодость Дионисия, его стремление к философии и образованию. Он говорил, как легко привлечь его племянников и близких к тому учению и жизни, которые я всегда проповедовал, и что они больше всех других будут способны привлечь к тому же самому и Дионисия. Так что если уж когда-либо может полностью осуществиться надежда, что философы и правители великих государств окажутся одними и теми же лицами, то именно теперь. Таковы были тогда его призывы и многие другие заманчивые предложения; меня страшила мысль об их молодости и о том, как все это выйдет, ведь молодые люди скоры в своих стремлениях и часто увлекаются ими в противоположную сторону. Однако я знал характер Диона, природную твердость его духа и установившуюся в нем с возрастом выдержку. Пока я это обдумывал про себя и колебался, нужно ли мне послушаться Диона и ехать или надо поступить как-то иначе, я наконец склонился к тому, что нужно, если только я хочу видеть осуществленными свои мысли о законах и государственном строе. Именно сейчас надо сделать такую попытку; убедив одного, я вполне мог бы выполнить все свои добрые намерения.

В силу такого образа мыслей и подобной решимости я снялся с места, а вовсе не потому, что могли бы подумать некоторые. Мне было очень стыдно перед самим собой, как бы не оказалось, что я способен лишь на слова, а сам никогда добровольно не взялся бы ни за какое дело. Кроме того, еще скорее можно будет подумать, что я предал свою дружбу и близость с Дионом, который был тогда в немалой опасности. Если бы он пострадал или если бы, изгнанный Дионисием и другими своими врагами, он, как беглец, пришел ко мне и обратился с такими словами: «О, Платон! Я прихожу к тебе, изгнанник, не потому, что я нуждаюсь в гоплитах или во всадниках, чтоб отражать врагов, но потому, что нуждаюсь в ре-

чах и в способности убеждения; я знаю, что именно ты умеешь побуждать молодых людей ко всему доброму и справедливому, а также всякий раз умеешь внушить им взаимную дружбу и чувство товарищества. И вот, лишенный этого по твоей вине, я, покинув Сиракузы, теперь прихожу к тебе. Совершенное в отношении меня привлекает на тебя меньше позора, но разве не оказалось, что философия, которую ты всегда превозносишь и говоришь, будто остальные люди относятся к ней без почтения, — эта философия, насколько только возможно, предана тобой наравне с моею судьбой? Ведь если бы случилось так, что я жил в Мегарах⁹, ты, конечно, пришел бы ко мне на помощь, если бы я стал тебя звать, в противном случае ты счел бы себя самым негодным из всех человеком; теперь же, благодаря тому что ты можешь сослаться на дальность пути, на трудность плавания, ты думаешь как-то избежать общего мнения, что ты поступил подло? Нет, тебе это никогда не удастся». Если бы он мне так сказал, какой приличный ответ на это мог бы я дать? Никакого. И вот на основании таких размышлений и справедливых, насколько это возможно для человека, доводов я пришел к указанному решению, оставив из-за этого мои философские беседы и исследования, которые так мне нравились, и попал в обстановку тирании, не подобающую ни моему учению, ни мне самому. Придя туда, я исполнил свой долг перед Зевсом-гостеприимцем, проявив безупречное отношение к обязанностям философа, ибо я заслуживал бы всяческого упрека, если бы в силу изнеженности и трусости запятнал бы себя столь скверным позором.

Когда я прибыл туда (мне не стоит очень распространяться), я нашел все окружение Дионисия зараженным политическими раздорами и клеветой перед тираном по адресу Диона. Конечно, насколько я мог, я его защищал, но я был способен сделать очень немного, и приблизительно на четвертый месяц после моего прибытия Дионисий изгнал Диона под предлогом, что тот злоумышляет против него и стремится к тирании, — изгнал с бесчестьем, посадив на маленькое судно¹⁰. После этого все мы, друзья Диона, боялись, как бы Дионисий не обратил своего гнева на кого-то еще как на соучастника в Дионовом заговоре. А относительно меня уже распространилась молва в Сиракузах, что Дионисий дал приказ меня казнить как виновного во всем том, что тогда случилось. Заметив, что все мы находимся в таком настроении,

боясь сам, как бы из-за нашего страха не произошло еще что-нибудь худшее, он стал всех нас милостиво принимать и особенно обращался ко мне, убеждал быть спокойным и всячески просил остаться: если бы я бежал от него, ему от этого не было бы ничего хорошего, зато было бы хорошо, если бы я остался; поэтому он усиленно делал вид, что просит меня об этом. А ведь мы знаем, что просьбы тиранов смешаны с принуждением. И вот он придумал, как помешать отплытию, уведя меня в акрополь и поселив там, откуда ни один кормчий не мог бы меня увезти против воли Дионисия; это можно было бы сделать лишь в том случае, если бы он сам поручил ему увезти меня, послав к нему человека с таким приказом. Любой купец, любой начальник пограничных дорог — каждый из них, кто увидал бы меня уходящим одного, без охраны, — схватил бы меня и тут же привел бы назад к Дионисию, тем более что уже опять распространился противоположный прежнему слух, будто бы Дионисий удивительно как любит и уважает Платона. А что было на самом деле? Нужно сказать правду. С течением времени он все более и более выражал мне свое расположение; чем больше при встречах со мной он узнавал мой образ мыслей и мой характер, тем сильнее он хотел, чтобы я хвалил его усерднее, чем Диона, и чтобы я лишь его отличал как друга, а не Диона, и в этом отношении он проявлял страшную ревность; а вступить на тот путь, каким это лучше всего могло бы осуществиться, если бы это вообще могло быть, а именно учиться и слушать мои беседы по философии, стать ко мне ближе и иметь со мной постоянное общение, он опасался, страхась злоречья клеветников, внушавших ему, что я могу как-нибудь связать его по рукам и ногам и таким образом Дион может достичь своей цели. Я все это переносил, твердо держась того намерения, с которым я сюда прибыл, а именно, чтобы он почувствовал желание жить жизнью философа, но его противодействие победило.

Таким-то образом проходила пора первого моего пребывания в Сицилии. После этого я опять отбыл в Афины и вернулся назад в Сицилию лишь по очень настойчивому вызову Дионисия. Почему я это сделал и почему то, что я сделал, было правильным и соответствующим моему образу мыслей, я вам изложу потом, ибо многие спрашивают меня, из-за чего я поехал вторично. А теперь, чтобы второстепенные вещи в моем рассказе не показались главными, я прежде всего хочу посовето-

вать вам, что́ следует делать ввиду сложившихся обстоя-
тельств. Так вот что хочу я сказать: ведь если врач дает
d совет больному, ведущему вредный для здоровья образ
жизни, то прежде всего он должен посоветовать ему,
чтобы он переменял свой образ жизни, и, только если тот
пожелает подчиниться, врач будет и дальше давать ему
свои наставления. Если же больной не захочет его по-
слушать, то врача, уклонившегося от советов такому
больному, я счел бы настоящим человеком и сведущим
лекарем, а того, кто продолжал бы настаивать на своих
советах, я счел бы, наоборот, человеком слабым и неис-
кусным. То же самое и относительно государства: будет
ли во главе его один человек или несколько, если госу-
дарственный строй стоит на верной стезе и правители
e пожелали бы спросить совета о том, что́ может им быть
полезным, то было бы разумно дать его таким людям.
Но есть и такие правители, которые полностью сошли
с правильной стези государственного устройства
и ни в коем случае не желают на нее вернуться, причём
советующему приказывают оставить их строй неприкос-
331 новенным, а если кто будет его касаться, тем грозят
смертью, либо они велют ему давать советы, принорав-
ливаясь к их прихотям и стремлению самым легким и
скорым путем сохранить на вечные времена свой строй.
Так вот, если кто при таких обстоятельствах продолжал
бы давать советы, я счел бы его человеком слабым; от-
казывающегося же все это выполнять я почел бы за на-
стоящего мужа. Такой вот я усвоил себе образ мыслей.
И когда кто-нибудь спрашивает у меня совета по жиз-
ненно важным вопросам, например по поводу приобрете-
b ния денег или заботы о теле или душе, если мне кажется,
что он в своей повседневной жизни руководится какими-
то правилами или что он послушается меня, я охотно
даю совет относительно того, о чем он меня спрашивает,
и прекращаю свои беседы, только исполнив свой долг.
Если же он вообще не спрашивает моего совета или ясно,
что он ни за что меня не послушается, то к такому че-
ловеку я не подойду без приглашения со своими совета-
ми, а к насилью не стану прибегать, будь даже он мой
родной сын. Рабу я бы стал советовать, даже если бы он
не захотел меня слушаться, и принудил бы его к этому
c силой; отца же и мать принуждать к чему-либо силой
я считаю нечестивым¹¹, разве только если их охватил
недуг безумия. И если они ведут раз навсегда установ-
ленный образ жизни, который им нравится, мне же нет,

я не должен вызывать их нерасположение, напрасно тревожа их наставлениями, ни, с другой стороны, льстиво прислуживаться к ним, ни, наконец, выполнять все их желания, которые мне самому в моей жизни были бы неприятны.

Так вот, разумный человек должен жить, именно таким образом относясь к своему государству: если ему кажется, что оно управляется нехорошо, он дает совет — в том случае, если ему не грозит опасность говорить впустую либо, выступая с речами, подвергнуть себя угрозе смерти; совершать же насилие над родиной в виде государственного переворота он не должен, если перемена к лучшему не может совершиться без изгнания и истребления людей; ему нужно, сохраняя спокойствие, молиться о благе для самого себя и для государства.

Вот в таком духе я бы и стал давать вам советы; так мы с Дионом советовали и Дионисию: прежде всего каждодневно жить таким образом, чтобы как можно больше иметь над собой власти и приобретать верных друзей и товарищей, с тем чтобы его не постигла судьба его отца. Тот, захватив много крупных городов в Сицилии, еще раньше совершенно разрушенных варварами, не был в состоянии, восстановив их, учредить в каждом из них надежное правление из дружественных ему людей — каких-либо иноземцев или своих братьев¹², бывших моложе его, которых он сам воспитал, а ведь он их из частных лиц сделал властителями и из бедных — людьми богатейшими. Никого из них он не смог сделать соучастником своей власти — ни с помощью убеждения или наставления, ни с помощью благодеяния, ни обращаясь к чувству родства. Его положение оказалось во сто крат хуже положения Дария, который не оказал доверия ни своим братьям, ни тем, кто был воспитан им самим, но лишь тем, кто вместе с ним участвовал в устранении мидийского евнуха; он разделил все свое государство на семь частей, каждая из которых больше всей Сицилии, и в лице своих сподвижников имел верных соправителей, не злоумышлявших ни против него, ни друг против друга; он показал пример, каким должен быть хороший законодатель и царь, ведь, установив законы, он и донныне сохранил неприкосновенной власть персов¹³. Нужно также привести в пример еще и афинян. Они получили в свое распоряжение много греческих городов, подвергшихся набегам варваров, однако сохра-

с нивших свое население, и, хотя не они их основывали, тем не менее они сохраняли там власть в течение семидесяти лет, приобретя верных себе людей в каждом из этих городов. Дионисий же, собрав всю Сицилию в один город и будучи слишком хитрым, чтобы кому-нибудь доверять, с трудом удерживал свою власть: он был беден друзьями и верными людьми, а ведь ничего не может служить лучшим признаком достоинства или порочности человека, чем наличие или отсутствие у него верных людей.

Вот подобные советы давали мы Дионисию, я и Дион.

а Раз прежде всего отец передал ему такое наследство, то он, лишенный настоящего воспитания, лишенный подходящих друзей, должен был все усилия направить на то, чтобы приобрести себе других друзей, из числа близких и сверстников, единоподушных с ним в стремлении к добродетели, главное же, он должен был прийти к согласию с самим собой, ибо этого он удивительно как не умел. Мы говорили об этом не так открыто — ведь это было небезопасно, — но обиняками, наводя его путем спора на мысль, что таким образом всякий человек сберегает и себя, и тех, над кем он стоит правителем, если же он ведет иной образ жизни, то все у него выходит наоборот. Идя тем путем, о котором мы говорим, став человеком разумным и рассудительным, он восстановит опустевшие сицилийские города, свяжет их законами и государственным строем так, чтобы они и ему стали близкими, и друг другу оказывали помощь против варваров; всем этим он не только удвоит полученное от отца государство, но поистине сделает его еще во много раз большим. Если это случится, то карфагеняне подчинятся ему гораздо сильнее, чем в былое их рабство при Геллоне¹⁴. Во всяком случае с ним не будет, как с его отцом, который, наоборот, должен был платить дань варварам.

е

333

Таковы были речи и увещания, обращенные нами к Дионисию, — нами, которые якобы против него злоумышляли. Так как отовсюду шли такие слухи, то они, одолев нас в глазах Дионисия, сделали то, что Дион был б изгнан, я же утрачен. Чтобы завершить рассказ о многом случившемся тогда за короткий срок, я скажу, что из Пелопоннеса и из Афин прибыл Дион¹⁵ и вразумил Дионисия уже на деле. И вот после того как он дважды освободил город и отдал власть над ним сиракузянам, они по отношению к Диону проявили ту же слабость, что Дионисий. Дион пытался воспитать и вырастить Диони-

сия как царя, достойного этой власти, и так вместе с ним пройти всю жизнь, а Дионисий верил клеветникам, утверждавшим, что Дион злоумышляет против него и что все, что он делал в то время, он делал, мечтая о тирании и надеясь занять ум Дионисия учением, с тем чтобы тот небрежно стал относиться к власти и препоручил ее ему, Диону, который прибрал бы ее к рукам и хитростью лишил бы ее Дионисия. Тогда вторично в среде сиракузян одержали верх подобные речи, и для виновников этой победы она была бессмысленной и позорной. А как все это произошло, надо, чтобы послушали те, кто меня призывает для устройства нынешних дел.

Я, афинский гражданин, товарищ Диона и его соратник, прибыл к тирану, чтобы вместо войны установить дружбу; в борьбе с клеветниками я был побежден. Но когда Дионисий стал соблазнять меня почестями и деньгами, чтобы я, став ему другом, послужил ему свидетелем благовидности изгнания Диона, то в этом он ошибся самым решительным образом.

Впоследствии, возвращаясь домой, Дион взял с собой из Афин двух братьев — своих друзей. Друзьями ему они стали не благодаря общим занятиям философией, но на почве обычного приятельства, такого, какое бывает у большинства друзей, возникая из взаимного гостеприимства и из совместных посвящений во всевозможные мистерии. Так вот и эти двое, отправившиеся вместе с ним в его обратный путь из изгнания, стали его друзьями как вследствие этих причин, так и благодаря услугам, оказанным ему на пути домой. Когда, прибыв в Сицилию, они заметили, что против Диона в среде освобожденных им сицилийцев распространилась клевета, будто он замышляет стать тираном, они не только предали своего товарища и гостя, но, можно сказать, почти собственноручно стали его убийцами, ибо с оружием в руках как помощники стояли возле этих последних. Я не обхожу молчанием это позорное и нечестивое деяние, но и не скажу больше ни слова: многие другие постарались его всячески расписать и будут еще стараться в будущем. В виде исключения я скажу лишь следующее: утверждают, будто эти люди, поскольку они афиняне, навлекли позор на наше государство; я же говорю, что был афинянином и тот, кто не предал того же самого Диона, хотя он мог получить за это и деньги, и много почестей. Он стал другом Диона не из пошлого приятельства, но вследствие общего обоим благородно-

го воспитания. Всякий разумный человек гораздо больше может положиться на это, чем на родство душ и тел.
c Так что оба убийцы Диона¹⁶ недостойны того, чтобы наложить позор на наше государство: они никогда не были в нем выдающимися людьми.

Все это сказано для назидания друзьям Диона и его родственникам. А сверх этого я в третий раз даю все тот же совет и в третий раз обращаюсь к вам троим. Учение мое состоит в том, что Сицилия, равно как и любое другое государство, не должна находиться под властью деспотов, но должна управляться законами. Власть деспота одинаково нехороша как для поработителей, так и
d для порабощенных, — для них самих, их детей, внуков и правнуков. Такая попытка вообще губельна; это свойство душ мелких и несвободных — жадно стремиться к подобного рода выгодам, свойство людей вовсе не ведающих того, что такое божественное и человеческое благо и справедливость в настоящем и будущем. В этом пытался я сначала убедить Диона, потом Дионисия, а теперь, в третью очередь, вас. Слушайте же меня ради самого Зевса, третьего бога-хранителя¹⁷, а кроме того, приняв во внимание Дионисия и Диона, из которых
e один, не слушавший меня, хоть и живет еще, но живет дурно¹⁸, другой же, слушавшийся, умер славной смертью, ведь пострадать, стремясь к прекрасному для себя и для государства, как бы пострадать ни пришлось, — в любом случае прекрасно и достойно чести человека. Никто из нас еще не родился бессмертным, и, если бы это с кем-нибудь случилось, он не был бы счастлив, как это кажется многим: добро и зло не имеют цены
335 для бездушных тел, но они важны для каждой души, как сопряженной с телом, так и отделившейся от него. Воистину надлежит следовать древнему и священному учению, согласно которому душа наша бессмертна и, кроме того, после освобождения своего от тела подлежит суду и величайшей каре и воздаянию. Поэтому надо считать, что гораздо меньшее зло — претерпевать великие обиды и несправедливости, чем их причинять. Человек
b жадный и нищий духом не желает об этом слышать, а если и слышит, то полагает, что над этим можно смеяться; он повсюду, словно животное, бесстыдно грабит все, что только захочет; он думает лишь о том, чтобы пить и есть и тешиться до пресыщения низменными и мерзкими наслаждениями, которые мы неверно называем именем Афродиты, оставаясь слепым и не видя, что его за-

хватничество тесно сопряжено с нечестием и что великое зло всегда сопутствует каждой несправедливости; совершивший ее неизбежно тащит зло за собой, живя на земле, а возвратившись под землю, обречен на позорное и во всех отношениях несчастное скитание.

Таковыми и другими подобными речами я сумел убедить Диона. На убийц же его и до некоторой степени также на Дионисия я имею самое законное право гневаться: как те, так и другой и мне и всем прочим, если можно так сказать, людям причинили величайшее зло; они — тем, что погубили человека, желавшего жить по справедливости, а Дионисий — тем, что за все свое правление никак не пожелал воспользоваться справедливостью, хоть и обладал великой силой. А между тем, если бы философия действительно могла сочетаться, как положено, с этой силой, они могли бы просиять среди всех людей, эллинов и варваров, и явить всем истинное мнение, что никакое государство и ни один человек никогда не может быть счастливым, если он не руководствуется в жизни разумом и справедливостью, сам ли найдя в себе эти качества или будучи вскормлен и воспитан в справедливых нравах благочестивыми руководителями.

Вот тот вред, который причинил Дионисий; всякий другой ущерб сравнительно с этим, на мой взгляд, ничтожен. А убивший Диона не знает, что нанес не меньший ущерб. Ведь я хорошо знаю, — насколько только человек может утверждать это относительно других людей, — что, если бы Дион получил в свои руки власть, он никогда не обратился бы ни к какой другой форме правления, как только к той, которая помогла бы ему прежде всего в Сиракузах, на собственной своей родине, после славного освобождения ее от рабства установить свободный вид правления, а затем всеми способами снабдить граждан прекрасными и подобающими законами. Вслед за этим у него было намерение сделать так, чтобы вся Сицилия была заселена и освобождена от варваров: одних из варваров он собирался изгнать, других подчинить, причем с меньшими усилиями, чем Гиерон¹⁹. Если бы это было сделано человеком справедливым, мужественным, разумным, философом, то у большинства составилось бы то же самое мнение относительно добродетели, которое создалось бы, можно сказать, у всех людей, если бы нас послушался Дионисий. Ныне же либо некий злой гений, либо какая-то пагуба, поразив нас без-

законием и нечестием, а самое главное, дерзким невежеством, из которого возникает и плодится для всех всевозможное зло, в дальнейшем рождающее для тех, кто его создал, горький-прегорький плод, — эта пагуба снова все низвергла и погубила.

Теперь я делаю третью попытку: да избегнем мы нечестия во имя доброго знамения! Вместе с тем я советую вам, друзья Диона, подражать его любви к родине, его рассудительности и умеренности и при более счастливых предзнаменованиях попытаться выполнить его замыслы, а каковы они были, вы ясно от меня слышали и знаете. Всякого из вас, кто не может жить на дорический лад, как жили ваши отцы, но гонится за жизнью убийц Диона, стремясь к сицилийской роскоши, такого не зовите с собой и не думайте, что он может сделать для вас что-либо надежное или полезное; всех же других зовите к заселению всей Сицилии и к равноправию, зовите из самой Сицилии и из всего Пелопоннеса. Не бойтесь также Афин: есть и там лица, выдающиеся среди других людей добродетелью и ненавидящие дерзость убийц своих друзей. Если, однако, по вашему мнению, все это можно сделать позднее, в настоящий же момент вас волнуют каждодневно возникающие многочисленные и разнообразные разногласия и раздоры, то всякому надо знать, если только он получил в удел от богов хоть каплю правильного понимания, что при междоусобиях конец бедствиям может быть положен не прежде, чем одержавшие верх перестанут стремиться к изгнанию людей, к их избиению, к мести своим врагам в память о прежнем зле, но научатся себя сдерживать и установить общие законы, изданные не только в их интересах, но и в интересах побежденных. Они заставят их выполнять эти законы под воздействием двух принудительных мер: уважения и страха; страха — потому, что они показали свое военное превосходство, а уважения — потому, что они показали себя более воздержанными в удовольствиях, а также потому, что сильнее хотят и лучше могут подчиняться законам. Другого пути для прекращения зла в государстве, страдающем от внутренних мятежей, нет; раздоры, вражда, ненависть и недоверие всегда угнездятся в государствах, где граждане так друг к другу относятся. И необходимо, чтобы победившие всегда, если только они хотят себя сохранить, сами в своей среде выбрали тех, кого они знают как лучших из эллинов, прежде всего старцев, а затем тех, кто имеет

на родине детей и жен, а также предков, славных и именитых во многих поколениях да, кроме того, обладающих достаточным состоянием. Таких людей для города в десять тысяч граждан достаточно пятидесяти ²⁰. Их всевозможными просьбами и обещаниями всякого почета надо вызвать с их родины, а когда они придут и принесут клятву верности, просить и настойчиво требовать, чтобы они составили законы, не дающие преимущества ни победителям, ни побежденным, но равные и общие для всего государства. После того как эти законы будут изданы, дальнейшее будет заключаться в следующем: если победители покажут, что они больше подчиняются законам, чем побежденные, все преисполнится благополучия и радости и избавления от бедствий; в противном же случае нечего звать ни меня, ни кого-либо другого для участия [в государстве], которое не желает слушаться установленных ныне правил. Все это близко к тому, что совместно пытались из любви к сиракузянам устроить я и Дион. Это был второй случай. Первый же был тот, когда впервые была сделана попытка вместе с самим Дионисием создать всеобщее благополучие, но некий злой рок, более сильный, чем люди, все это разметал. Теперь попытайтесь вы с большим успехом все это выполнить — в добрый час и под покровительством божественной судьбы.

Да будет это концом моего письменного совета, а также рассказа о первом моем прибытии к Дионисию. Что касается второго моего плавания и прибытия в Сицилию, то о том, что оно имело достаточно оснований и было проделано как подобает, тот, кому этого хочется, может теперь услышать. Первое время моего пребывания в Сицилии закончилось, как я сказал, раньше, чем я начал давать советы родственникам и друзьям Диона. Я постарался, насколько я мог, убедить Дионисия отпустить меня, и мы сошлись на том, что это будет, когда наступит мир (тогда шла война в Сицилии). Дионисий со своей стороны сказал, что он потом снова пошлет за Дионом и за мной, когда добьется большей безопасности для своего правления, а Диона просил думать, что тогда это было для него не изгнанием, а просто переселением; на этих условиях я согласился потом прибыть. Когда наступил мир, он послал за мной, Диона же просил подождать еще год; меня же он настойчиво просил приехать во что бы то ни стало. Дион требовал, чтобы я плыл, и умолял об этом, так как из Сицилии снова по-

ползли слухи, будто Дионисий опять охвачен сильнейшей страстью к философии; из-за этого-то Дион настойчиво просил нас не отказываться от приглашения. Я-то с знал, что в отношении философии у молодых людей часто бывают такие порывы, однако мне тогда показалось более безопасным самым решительным образом отказать и Диону, и Дионисию. Я вызвал неудовольствие у них обоих, ответив, что я старик и что ничего из того, о чем мы договорились, пока что не сделано. По-видимому, после этого к Дионисию прибыл Архит ²¹ (когда я уезжал, прежде чем отплыть, я познакомил их и установил дружеские отношения между Архитом и тарентинцами, с одной стороны, и Дионисием — с другой); были d в Сиракузах и другие слыхавшие о Дионе, и среди них такие, что были напичканы случайно услышанными философскими положениями. Мне показалось, что они пытаются вести с Дионисием рассуждения на эти темы, считая, что Дионисий прослушал все, что было мной продумано. Дионисий же вообще не был бездарен в смысле познания, а к тому же был удивительно честолюбив: ему, конечно, нравилось то, что они говорили, и e было бы очень стыдно, если бы оказалось, что он ничего не усвоил из моего учения за то время, что я у него гостил. Поэтому его охватило желание выслушать все это основательно, а вместе с тем его побуждало и честолюбие. А почему он не слушал всего этого во время первого моего у него пребывания, я изложил только что выше.

Поскольку я счастливо спасся на родину, то, когда он снова стал меня приглашать, я, как я только что сказал, отказался. Мне кажется, что тут у Дионисия особенно заговорило самолюбие — как бы не показалось 339 иным, что я отношусь с презрением к его дарованиям и способностям, а также к его образу жизни, поскольку я все это испытал на себе, и потому, возмущенный, не желаю к нему приехать. И действительно, мне нужно сказать правду и проявить выдержку, даже если кто-нибудь, услышав, что тут произошло, отнесется с презрением к моей философии и решит, что тиран не глуп. И вот Дионисий в третий раз за мной посылает, прислав, чтобы облегчить мне поездку, триеру, а также и Архедема ²² — b одного из сотоварищей Архита, которого, как он считал, я ставил в Сицилии выше других. Прислав он за мной и других моих сицилийских знакомых. Все они в один голос сообщали мне, что Дионисий целиком отдался

философии. Кроме того, он прислал очень длинное письмо, зная, как я расположен к Диону, и зная желание Диона, чтобы я плыл и прибыл в Сиракузы. Ведь на этом и было построено все его письмо, начинавшееся так: «Дионисий Платону шлет привет»; потом шли обычные любезности, а затем на первом месте стояло следующее: «Если, послушавшись сейчас меня, ты придешь в Сицилию, то прежде всего для тебя все дела Диона будут устроены так, как сам ты того пожелаешь. Твои пожелания, я знаю, будут умеренны, и я на все это соглашусь. В противном случае относительно Дионовых дел ничего не будет сделано так, как ты хочешь, — ни что касается всего остального, ни что касается лично его». Вот как он писал; передавать же все остальное было бы и долго, да и некстати. Пришли и другие письма — от Архита и тарентинцев, — восхвалявшие любовь Дионисия к философии; в них сообщалось, что если я теперь не прибуду, то их дружеские отношения с Дионисием, устроенные мной и имеющие большое значение для их государства, окажутся под большим сомнением. Так обстояло дело с тогдашним приглашением: друзья из Сицилии и Италии тащили меня к себе, друзья в Афинах вместе с просьбами попросту как бы выталкивали меня вон, и снова, как и раньше, у меня возникло то же соображение, а именно, что нельзя предать Диона и тарентинских друзей и знакомых; кроме того, мне показалось, что ничего удивительного нет в том, что одаренный молодой человек, ранее пропускавший мимо ушей беседы по важным вопросам, возымел вдруг стремление к совершенной жизни. Нужно, считал я, все это хорошенько взвесить, чтобы понять, каково настоящее положение дел, и ни в коем случае не навлечь на себя справедливый упрек в предательстве и великий стыд, если меня укорят в том, что я действительно послужил причиной чьих-то больших неприятностей. Спрятавшись за подобными рассуждениями, я отправлюсь в путь с немалыми опасениями и, естественно, пророча себе все самое худшее. И вот когда я прибыл, то прямо по пословице: «Третье возлияние — богу-спасителю» — пришлось мне счастливо спастись и на этот раз. И за это после бога надо воздать благодарность Дионисию, так как, хотя многие хотели меня погубить, он этому помешал и почувствовал какую-то долю стыда по поводу моего положения.

Итак, когда я туда прибыл, я решил, что прежде всего мне надо убедиться в том, действительно ли Дионисий,

как пламенем, охвачен жаждой философии, или же напрасно все эти бесчисленные толки распространились в Афинах. Есть один способ произвести такого рода испытание, он не оскорбителен и поистине подходящ для тиранов, особенно для таких, которые набиты ходячими философскими истинами, а я тотчас же по прибытии заметил, что это в высшей степени относится к Дионисию. Так вот таким людям надо показать, что из себя представляет философия в целом, какие сложности она с собой несет и какой требует затраты труда. И такой человек, если он подлинно философ, достойный этого имени и одаренный от бога, услышав это, считает, что слышит об удивительной открывающейся перед ним дороге и что теперь ему нужно напрячь все силы, а если он не будет так делать, то не к чему и жить. После этого, сам собравшись с силами, он побуждает и того, кто его ведет, и не отпускает до тех пор, пока либо во всем не дойдет до конца, либо не получит способность один, без вожака d того нащупать правильный путь. Таким образом и с такими мыслями живет такой человек. Какими бы делами он ни занимался, он продолжает их делать, но вместе с тем твердо держится философии. Его каждодневный образ жизни таков, что делает его в высшей степени восприимчивым, памятливым и способным мыслить и рассуждать: он ведет умеренную, трезвую жизнь, жизнь же противоположную этой он навсегда возненавидит. Те же, кого не назовешь подлинными философами, имеют лишь налет кажущегося знания, как люди, кожа которых покрыта загаром. Увидав, сколь велико должно быть познание, как огромен труд, каким размеренным должен e быть образ жизни и каким высоконравственным, они, решив, что это трудно и для них невозможно, оказываются 341 неспособными ревностно заниматься философией, некоторые же убеждают самих себя, что они уже довольно наслушались и впредь им вообще нет никакой нужды в философских занятиях. Это испытание само по себе совершенно ясное и безопасное по отношению к тем, кто ведет праздный образ жизни и не имеет сил упорно трудиться. Оно никогда не вызовет нареканий на того, кто его применил, а лишь на самого себя, который не сумел выполнить все требуемое и полезное для занятия философией.

Таким образом, все мной сказанное было применено b к Дионисию. Но ни я не излагал ему всего, ни он не просил меня об этом: он делал вид, что многое и самое глав-

ное он уже знает и в достаточной мере усвоил благодаря тому, что он слышал кое-что от других. Позднее до меня дошло, что он записал то, что тогда слышал, выдавая это за свое учение и ни словом не упоминая о тех, от кого он это узнал. Однако твердо я этого не знаю. Зато я знаю других, которые писали по тем же вопросам, однако никто из них не выдавал это за собственные творения²³.

Вот что вообще я хочу сказать обо всех, кто уже написал или собирается писать и кто заявляет, что они знают, над чем я работаю, так как либо были моими слушателями, либо услышали об этом от других, либо, наконец, дошли до этого сами: по моему убеждению, они в этом деле совсем ничего не смыслят. У меня самого по этим вопросам нет никакой записи и никогда не будет. Это не может быть выражено в словах, как остальные науки; только если кто постоянно занимается этим делом и слил с ним всю свою жизнь, у него внезапно, как свет, засиявший от искры огня, возникает в душе это сознание и само себя там питает. И вот что еще я знаю: написанное и сказанное мною было бы сказано наилучшим образом, но я знаю также, что написанное плохо причинило бы мне сильнейшее огорчение. Если бы мне показалось, что следует написать или сказать это в понятной для многих форме, что более прекрасного могло быть сделано в моей жизни, чем принести столь великую пользу людям, раскрыв всем в письменном виде сущность вещей? Но я думаю, что подобная попытка не явилась бы благом для людей, исключая очень немногих, которые и сами при малейшем указании способны все это найти; что же касается остальных, то одних это совсем неуместно преисполнило бы несправедливым презрением [к философии], а других — высокой, но пустой надеждой, что они научились чему-то важному. Мне пришло сейчас в голову изложить это более подробно. Может быть, то, о чем я теперь говорю, стало бы еще яснее. Ведь есть некое неопровержимое основание, препятствующее тому, кто решается написать что бы то ни было; об этом я не раз говорил и прежде, но, по-видимому, надо об этом сказать и сейчас.

Для каждого из существующих предметов есть три ступени, с помощью которых необходимо образуется его познание; четвертая ступень — это само знание, пятой же должно считать то, что познается само по себе и есть подлинное бытие: итак, первое — это имя, второе —

определение, третье — изображение, четвертое — знание. Если ты хочешь понять, что я говорю, возьми какой-то один пример и примени его ко всему. Например, «круг» — это нечто произносимое, и имя его — то самое, которое мы произнесли. Во-вторых, его определение составлено из существительных и глаголов. Предложение: «То, крайние точки чего повсюду одинаково отстоят от центра» — было бы определением того, что носит имя «круглого», «закругленного» и «окружности». На третьем месте стоит то, что нарисовано и затем стерто или выточено и затем уничтожено. Что касается самого круга, из-за которого все это творится, то он от всего этого никак не зависит, представляя собой совсем другое. Четвертая ступень — это познание, понимание и правильное мнение об этом другом. Все это нужно считать чем-то единым, так как это существует не в звуках и не в телесных формах, но в душах; благодаря этому ясно, что оно — совершенно иное, чем природа как круга самого по себе, так и тех трех ступеней, о которых была речь выше. Из них понимание наиболее родственно, близко и подобно пятой ступени, все же остальное находится от нее много дальше. То же самое можно сказать о прямых или округлых фигурах, о цветах, о благом, прекрасном и справедливом, о всяком теле, изготовленном или естественно существующем, об огне, воде и обо всех подобных вещах, о всяком живом существе и о характере душ, о всех поступках и чувствах: если кто не будет иметь какого-то представления об этих четырех ступенях, он никогда не станет причастным совершенному познанию пятой. Сверх этого все это направлено на то, чтобы о каждом предмете в равной степени 343 выяснить, каков он и какова его сущность, ибо словесное наше выражение здесь недостаточно. Поэтому-то всякий имеющий разум никогда не осмелится выразить словами то, что явилось плодом его размышления, и особенно в такой негибкой форме, как письменные знаки. То, что я сейчас сказал, нужно постараться понять на том же примере. Любой круг, нарисованный или выточенный человеческими руками, полон противоречия с пятой ступенью, так как он в любой своей точке причастен приямизне. Круг же сам по себе, как мы утверждаем, ни в какой степени не содержит в себе противоположной природы. Мы утверждаем, что ни в одном из названий всех этих [сделанных человеческими руками] кругов 344 нет ничего устойчивого и не существует препятствия

для того, чтобы называемое сейчас кругом мы называли потом прямым и, наоборот, чтобы прямое было названо круглым; в то же время вещи, называемые то одним, то другим, противоположным, именем, стойко остаются теми же самими.

И с определением все та же история, если оно слагается из имен существительных и глаголов, и в то же время ничто твердо установленное не бывает здесь достаточно твердым. Можно бесконечно долго говорить о каждой из четырех ступеней и о том, как они неопределенны. Самое же главное, как мы сказали несколько выше, — это то, что при наличии двух вещей — сущности и качества — душа стремится познать не качество, а сущность, но при этом каждая из четырех ступеней, к которым душа совсем не стремится, предлагает ей словом и делом то, что легко воспринимается всякий раз ощущениями с помощью определения или указания и наполняет, если можно так сказать, любого человека недоумением и сомнением²⁴. Так вот когда мы, вследствие плохого воспитания, даже не стремимся отыскать истины, но довольствуемся предложенным нам изображением, тогда мы не окажемся смешными в глазах друг друга, если нас станут спрашивать те, кто, задавая вопрос, может опровергнуть и разнести в пух и прах первые четыре ступени [познания]. Но если мы принуждены давать ответы относительно пятой ступени и ее разъяснять, то всякий желающий из числа тех, кто в состоянии нас опровергнуть, одерживает над нами победу и того, кто выступает истолкователем — устно ли, письменно ли, с помощью ли ответов, — выставляет в глазах большинства невеждой в том, о чем он пытается писать или говорить, причем слушатели эти иной раз и не знают, что подвергается разносу не душа написавшего или сказавшего, но природа каждой из указанных четырех ступеней, сама по себе недостаточная. Глубокое проникновение в каждую из этих ступеней, подъем или спуск от одной из них к другой с трудом порождают совершенное знание — и то лишь у того, кто одарен по природе. Но если кто от природы туп, а таково состояние души большинства людей в отношении учения и так называемого воспитания правов, или же способности его угадать, то сам Линкей²⁵ не мог бы сделать таких людей зрячими. Одним словом, человека, не сроднившегося с философией, ни хорошие способности, ни память с ней сроднить не смогут, ибо в чуждых для себя душах она не

пускает корней. Так что те, кто по своей природе не сросся и не сроднился со всем справедливым и с тем, что именуют прекрасным, — пусть они даже то в одном, то в другом и проявят способности или память, — как и те, кто сроднился с философией, но не обладает способностями и лишен памяти, никогда не научатся, насколько это вообще возможно, истинному пониманию того, что такое добродетель и что такое порок. b Всему этому надо учиться сразу, а также тому, что́ есть ложь и что́ — истина всего бытия, причем учиться с большим напряжением и долгое время, как я сказал об этом в самом начале. Лишь с огромным трудом, путем взаимной проверки — имени определением, видимых образов — ощущениями, да к тому же, если это совершается в форме доброжелательного исследования, с помощью беззлых вопросов и ответов, может просиять разум и родиться понимание каждого предмета в той степени, в c какой это доступно для человека. Поэтому ни один серьезный человек никогда не станет писать относительно серьезных вещей и не выпустит это в свет на зависть невеждам. Одним словом, из сказанного должно понять, что, когда кто-нибудь увидит что-то написанное — будь то законы законодателя или другие какие-то письма, — если он сам серьезный человек, он не сочтет все это чем-то столь уж для себя важным, но поймет, что самое для него важное лежит где-то в более прекрасной области, чем эта. Однако если бы он письменно изложил то, что столь глубоко им было продумано, d «тут у него», конечно, не боги, но сами люди «похитили бы разум» ²⁶.

Тот, кто внимательно следил за этим отступлением, хорошо поймет, что если бы Дионисий или кто-то другой, стоящий выше или ниже, что-либо написал о первопричинах природы ²⁷, то, по моему убеждению, он не написал бы ничего из того, что он слышал или чему научился, вполне здравого: так же, как для меня, для него это было бы священным и он не решился бы выпустить это в такую несоответствующую и неподходящую среду. Не стал бы он записывать это ради памяти — ведь нечего бояться, как бы он этого не забыл, раз уж он воспринял e это в свою душу, ведь это выражается очень кратко. Но сделал бы он это из позорного честолюбия — либо для того, чтобы выдать это за свое произведение, либо чтобы показать, будто он причастен науке, которой на самом деле он был недостоин, так как возлюбил только славу,

приходящую благодаря этой причастности. Если бы у Дионисия это получилось от общения со мной, это еще было бы понятно, но как это произошло на самом деле, пусть ведаёт Зевс, сказал бы фиванец²⁸. Беседовал я с ним так, как я говорил, и лишь один раз, позднее же — никогда. 345

Теперь тому, кому интересно, узнав относительно этого, исследовать, каким образом все это произошло, надо узнать, по какой причине я не стал распространяться при Дионисии ни во второй раз, ни в третий, ни еще чаще. Может быть, Дионисий думает, что, услышав это один раз, он хорошо все постиг или что он вообще знает достаточно, сам дойдя до этого либо научившись ранее от других²⁹, или, далее, что сказанное мной ничего не стоит, или, наконец, что это не для него, что это выше его понимания и по сути он не в состоянии посвятить свою жизнь разуму и заботе о добродетели. Если он считает мое учение ничего не стоящим, то ему придется сражаться со многими свидетелями, утверждающими противное, которые в таких вопросах могли бы быть гораздо более сведущими судьями, чем Дионисий. Если же то, до чего он дошел сам или чему научился, достойно воспитания человека свободной души, как мог он, не будучи человеком до крайности странным, так легкомысленно оскорбить своего руководителя, того, кто владеет всем этим знанием? А как он меня оскорбил, я могу теперь рассказать. b

Немного времени спустя после моей с ним беседы, в то время как прежде он позволял Диону распоряжаться своим имуществом и пользоваться процентами с него, он вдруг не разрешил своим управляющим посылать эти деньги в Пелопоннес, словно совершенно забыв о своем письме. Он говорил, что все это принадлежит не Диону, а его сыну³⁰, то есть племяннику Дионисия, а он, Дионисий, является по закону его опекуном. Вот как обстояло дело в то время и до чего это все дошло. Подобные события уже и раньше ясно мне показали, какова любовь Дионисия к философии, и, хочешь не хочешь, мне оставалось только негодовать. Тогда уже было лето и время плавания кораблей; и я подумал, что мне не больше нужно сердиться на Дионисия, чем на самого себя и на тех, кто в третий раз заставил меня пройти через пролив Скиллы, c

Вновь чтоб измерить мне пропасть ужасной Харибды³¹.

Я стал говорить Дионисию, что мне невозможно оставаться после того, как с Дионом обошлись столь унижительно. Он же старался меня успокоить и просил оставаться, считая, что ему будет не очень хорошо, если я уеду с такой поспешностью, как вестник подобного рода событий. Но так как он не мог меня убедить, то он сказал, что сам позаботится устроить мне отъезд. Я имел в виду отплыть, сев на первые отходящие суда; при этом я был исполнен раздражения и полагал, что готов пойти на все, если мне станут мешать в этом моем намерении, так как было совершенно ясно, что я ничем никого не обидел, но был обижен сам. Дионисий же, видя, что ничто на меня не действует и я не собираюсь оставаться, устроил вот какую хитрость, задумав помешать моему отплытию. День спустя после этого разговора, придя ко мне, он делает мне с виду убедительное предложение: «Пусть Дион и все дионовские дела перестанут быть так часто яблоком раздора между мной и тобой. Ради тебя я вот что сделаю для Диона: я требую, чтобы он жил в Пелопоннесе, взяв свое имущество, и не как изгнанник, но как человек, которому можно будет вернуться сюда, когда после совместного обсуждения он, я и вы, его друзья, все найдем это возможным. Но возможным будет это лишь в том случае, если он не злоумышляет против меня, а поручителями в этом будете ты и твои близкие, а также живущие здесь друзья Диона; он же в свою очередь пусть даст вам твердое обещание. Деньги, которые он возьмет, пусть находятся в Пелопоннесе и в Афинах в руках тех людей, которым он найдет нужным их поручить; проценты пусть получает Дион, но основным имуществом он не вправе распоряжаться без вашего согласия. Я не очень полагаюсь, что он справедливо воспользуется этими деньгами по отношению ко мне — ведь сумма получается немалая, — в тебе же и в твоих близких я больше уверен. Смотри же, нравятся ли тебе мои предложения, и если да, то останься на этих условиях еще год, а весной уезжай, взяв с собой эти деньги. Я знаю, что Дион будет тебе очень благодарен, если ты сделаешь это в его интересах».

Услыхав такие его слова, я вознегодовал, но, подумав, сказал ему, что дам на следующий день ответ о своем решении; на этом мы тогда и согласились. После же, находясь в большом смущении, я наедине с собой так размышлял. Первой моей мыслью было следующее:

«Что будет, если Дионисий не собирается сделать ничего из того, о чем он говорит, но если я уеду, а он в убедительной форме напишет Диону — и сам лично, и поручив это многим из своего окружения — и расскажет ему то, что он теперь мне сказал, а именно, будто у него были самые лучшие намерения, а я не пожелал сделать то, к чему он меня побуждал и совершенно пренебрег его, Диона, интересами? А что, если, сверх того, он не пожелает меня отпустить и сам не даст такого приказа никому из судовладельцев, но, наоборот, легко даст понять всем, что ему нежелательно, чтобы я отплыл, разве кто-нибудь пожелает отвезти меня отсюда — прямо из дворца Дионисия?» Ведь в довершение ко всем бедам я жил в садах, окружавших дворец, откуда ни один привратник не пожелал бы меня выпустить, если бы Дионисий не прислал ему об этом приказа. «Если же я останусь на год, — думал я, — то буду иметь возможность сообщить Диону, в каком я снова нахожусь положении и как поживаю. И если Дионисий исполнит хоть что-нибудь из того, что он обещает, то мои труды окажутся не совсем напрасными, ведь состояние Диона, если точно его оценить, составит талантов ³² сто. Если же произойдет все то, что сейчас мне мерещится, как этого и естественно ожидать, то я и вовсе не знаю, что мне тут делать, однако все же необходимо мне как-никак перестрадать еще год и на деле попытаться уличить Дионисия в его коварных уловках». Так я решил про себя и на следующий день сказал Дионисию: «Я решил остаться, но прошу тебя не считать меня полноправным распорядителем Дионовых дел. Поэтому я прошу тебя вместе со мной написать ему письмо, сообщающее то, что нами теперь решено, и спросить, удовлетворяет ли его это, и, если нет и он хочет и требует чего-то другого, пусть он напишет об этом возможно скорее, а ты до тех пор не производи никаких изменений в его положении».

Вот каков был наш разговор, и мы согласились между собой примерно так, как я сейчас сказал. После этого корабли отплыли, и мне уже не на чем было плыть. Тут Дионисий, словно вспомнив о чем-то, говорит, что половина состояния должна принадлежать Диону, а другая половина — его сыну; он продаст имущество Диона и половину вырученных денег даст мне отвезти, а половину оставит сыну Диона; так, мол, будет вполне справедливо. Я был поражен его словами и считал, что смешно было бы еще возражать, но все же сказал, что

347

b

c

d

нужно подождать письма от Диона и тогда написать ему об этих новых предложениях. Но тотчас же после этого разговора он стал лихорадочно распродавать все имущество Диона, где, как и кому хотел, мне же об этом теперь вообще не говорил ни слова; конечно, и я в равной мере не беседовал с ним больше о делах Диона, так как был убежден, что из этого ничего не выйдет.

Вот в какой степени было мной тогда оказано содействие философии и моим друзьям. После этого так мы жили, я и Дионисий: я — глядя по сторонам, подобно птице, жаждущей улететь, а он — придумывая хитрости, чтобы меня запугать и не дать ничего из имущества Диона. Однако всей Сицилии мы говорили, что мы друзья. Но вот Дионисий вопреки обычаю отца попытался посадить на более низкое жалованье старейших наемников. Разгневанные воины собрались вместе и заявили, что они этого не допустят. Он пытался силой заставить их подчиниться, закрыв ворота акрополя, но они тотчас же осадили стены, затянув какой-то варварский воинственный гимн. Дионисий до смерти этого испугался, пошел на все уступки и дал собравшимся пелтастам еще больше, чем они требовали. Тогда быстро распространился слух, что во всем виноват Гераклид³³. Услыхав об этом, Гераклид незаметно исчез; Дионисий пытался его схватить, но, не зная, как это устроить, вызвал Феодота³⁴ в дворцовый сад; случайно и я там гулял. Что они говорили между собой, я не слышал и не знаю; то же, что Феодот сказал Дионисию в моем присутствии, я знаю и до сих пор помню. «Платон, — сказал он, — я вот убеждаю Дионисия в том, что, если я смогу привести сюда Гераклида для переговоров относительно возводимых на него сейчас обвинений и тут будет решено, что ему не следует жить в Сицилии, пусть он, согласно моему предложению, взяв жену и сына, отплывет в Пеллопоннес и живет там, не замышляя ничего плохого против Дионисия и пользуясь своим состоянием. Я и раньше посылал за ним, пошлю и теперь, и, может быть, он послушается либо первого моего приглашения, либо теперешнего. Перед Дионисием же я настаиваю и прошу, если кто-нибудь встретит Гераклида в деревне или здесь, в городе, чтобы с ним не случилось ничего плохого, лишь бы он покинул страну, пока Дионисий не изменил своего решения». И, обращаясь к Дионисию, он сказал: «Ты соглашаешься на это?» «Я соглашаюсь на то, — сказал Дионисий, — что, если он будет находиться

в твоём доме, он не потерпит ничего плохого и данное сейчас обещание не будет нарушено».

Вечером на другой день ко мне спешно пришли Еврибий и Феодот, очень возбужденные, и Феодот говорит: «Платон! Вчера ты был свидетелем того, на что согласился Дионисий относительно Гераклида в моём и твоём присутствии?» «Ну, конечно, да», — сказал я. «А вот теперь, — продолжал он, — повсюду бегают пелтасты, ища Гераклида, чтобы его схватить, а он, видно, находится где-то здесь поблизости. Пойдем же как можно скорее вместе с нами к Дионисию». И вот мы отправились и вошли к нему; и оба они стояли молча, проливая слезы, а я сказал: «Вот они боятся, как бы ты не поступил как-то иначе с Гераклидом, нарушив свое вчерашнее обещание; мне кажется, что он где-то здесь и его видели». Услышав это, он вспыхнул, и лицо его то бледнело, то краснело, как это бывает при сильном гневе. Феодот же, припав к его ногам и взяв его за руку, заплакал и стал умолять не делать ничего плохого. В свою очередь я поддерживал его слова и, одобряя, сказал: «Будь спокоен, Феодот; Дионисий не решится сделать что-либо вопреки вчерашнему соглашению». Тут Дионисий, взглянув на меня, как истинный тиран, молвил: «Тебе-то я и вовсе не обещал ничего». «Клянусь богами, — сказал я на это, — ты обещал то, о чем просит тебя Феодот, — что ты ничего не сделаешь Гераклиду». Произнеся это, я повернулся и вышел. После этого Дионисий устроил облаву на Гераклида, а Феодот, отправив к Гераклиду гонцов, дал ему совет бежать. Тогда Дионисий, послав Тисия³⁵ и пелтастов, велел его преследовать, но Гераклид, говорят, опередил его на небольшую часть дня, успев бежать в пределы карфагенских владений.

Теперь старое намерение Дионисия не отдавать денег Диона, казалось, получило веское основание: это была питаемая ко мне вражда, и прежде всего он выслал меня из акрополя под предлогом, что в саду, где я жил, женщины должны справлять десятидневный праздник с жертвоприношениями. Он велел мне все это время жить за пределами акрополя, у Архедема. Пока я там пребывал, Феодот, посылая за мной, часто негодовал на то, что произошло, и порицал Дионисия. Когда тот услышал, что я бываю у Феодота, он сделал из этого новый предлог для разрыва со мной, который был родным братом первого. Послав кого-то, он спросил меня, действительно ли я бываю у Феодота, когда он меня приглашает.

«Конечно», — ответил я. Тогда посланный сказал мне: «Так вот, он велел тебе передать, что ты очень плохо делаешь, предпочитая ему Диона и Дионовых друзей». Вот что было мне сказано, и больше уже он не приглашал меня к себе во дворец под предлогом, будто ему стало ясно, что я друг Феодота и Гераклида, ему же я враг. Да он и не мог уже думать, что я хорошо отношусь к нему, так как деньги Диона окончательно канули в воду. После этого я жил вне акрополя, среди наемных солдат. Разные лица и некоторые служилые люди родом из Афин, мои сограждане, приходя ко мне, сообщали, что среди пелтастов распространяется против меня клевета и некоторые из них грозятся, если они захватят меня, убить. Тогда я придумываю вот какой способ спасения. Я посылаю к Архиту и другим друзьям в Тарент письмо с рассказом о том, в каком положении я оказался. Они же, под предлогом какого-то посольства от имени их государства, посылают тридцативесельный корабль во главе с одним из своих, Ламиском. Прибыв к Дионисию, он стал просить его за меня, говоря, что я хотел бы уехать и что не стоит мне в этом препятствовать. Дионисий дает свое согласие и отпускает меня, дав на дорогу денег; что же касается денег Диона, то и я ничего не просил, и он ничего не дал.

Прибыв в Пелопоннес, в Олимпию, и застав там Диона ³⁶, смотревшего на игры, я сообщил ему о том, что произошло. Тогда он, призвав в свидетели Зевса, сказал мне и моим близким и друзьям, чтобы все мы готовились отомстить Дионисию: я — за оскорбление права гостеприимства (так он тогда говорил и считал), сам же он — за несправедливую высылку и изгнание. Услыхав это, я предложил ему призвать на помощь и моих друзей, если они согласны. «Меня же, — сказал я, — ты вместе с другими какой-то силой сделал сотрапезником Дионисия, его домочадцем, участником его жертвоприношений. Так как многие клеветали, он, конечно, мог думать, что я вместе с тобой злоумышляю против него и его власти, однако он не убил меня, удивившись этого. Возраст мой не таков ³⁷, чтобы я мог еще с кем-то сражаться, однако я буду заодно с вами, если, нуждаясь когда-либо во взаимной дружбе, вы пожелаете сделать что-то хорошее. Но пока вы хотите зла, скликайте на это других». Вот что я сказал, исполненный горечи при воспоминании о своих сицилийских путешествиях и бедах; они же, не слушаясь меня и не желая

выполнять моих указаний, сами оказались виновниками всех своих несчастий. Если бы Дионисий отдал деньги Диону или же совсем примирился бы с ним, этих несчастий не было бы совсем, насколько это в человеческих силах, а Диона я легко бы сдержал, для чего у меня была и добрая воля, и достаточное влияние. Теперь же, набросившись друг на друга, они все наполнили бедствиями. А ведь Дион питал такие же замыслы, какие, должен сказать, мог бы питать и я, да и всякий другой, кто, будучи человеком умеренным и разумным как в деле собственной власти и власти своих друзей, так и относительно своей родины, считал бы, что, благодетельствуя другим, он окажется на самой вершине власти и почестей. Это совсем другое дело, чем если бы кто сделал себя, своих друзей и город богатыми, устроив заговор и собрав соучастников, притом что он — человек бедный и собой не владеет, а по слабости сдается перед лицом удовольствий и приобретает богатство, убивая людей состоятельных, объявляя их своими врагами; растаскивая их деньги, он раздает их своим соучастникам и друзьям, чтобы никто не мог на него пожаловаться, говоря, что остался беден. Так же мало принесет это славы тому, кто, таким же образом облагодетельствовав государство, почитается в нем за то, что разделил согласно народному постановлению богатство немногих между многими или же, стоя во главе большого города, властвующего над многими малыми, несправедливо отбирает у этих малых городов деньги для своего, большого. Так что ни Дион, ни кто-либо другой добровольно не примет такую власть, гибельную и для него самого, и для его рода на все времена; напротив, он устремится к государственному строю, основанному на самых справедливых и лучших законах, не прибегая ни к казням, ни к изгнанию хотя бы только совсем немногих. Это-то делал теперь Дион, предпочитая лучше испытать на себе нечестие, чем его совершить; при этом он все же старался ему не подвергнуться. Однако он погиб³⁷, достигнув своей цели — победил врагов. В том, что постигло Диона, нет ничего удивительного. Человек честный, разумный и вдумчивый вообще-то не может ошибиться относительно душевных качеств бесчестных людей, но неудивительно, если ему приходится испытать то же, что хорошему кормчему, от которого не скроется надвигающаяся буря, однако неожиданно роковая сила этой бури все-таки может скрыться, а скрывшись, своей мощью может потопить

его. Именно это погубило Диона. От его глаз несколько не скрылось, что те, кто его погубил, были скверные люди, однако какова сила их дикости, мерзости и нена-
е сытности, этого он не видел. Сраженный этим, он лежит мертвый, ввергнув Сицилию в безмерную печаль.

352 После всего сказанного сейчас мой совет вам, я думаю, покажется достаточным. Да будет так! А чего ради я предпринял свою вторую поездку в Сицилию, мне показалось необходимым рассказать вследствие странности и необычности происшедшего. Если кому-нибудь рассказанное мной станет теперь понятнее и причины для случившегося покажутся ему основательными, цель моего рассказа будет, по-моему, достигнута в полной мере.

VIII

ь *Платон близким и друзьям Диона
желает благополучия*

Что, обдумав все хорошенько, вы действительно могли бы добиться величайшего благополучия, я по мере сил постараюсь вам объяснить. Надеюсь, что я дам хороший совет не только вам — хотя, конечно, в первую
с очередь вам, — но и всем сиракузянам, в-третьих же, вашим врагам и противникам, за исключением тех из них, кто запятнал себя преступлениями: подобные пороки неисцелимы и никто никогда не сумел бы смыть такого пятна. Подумайте же над тем, что я вам сейчас скажу.

С тех пор как устранена тирания, во всей Сицилии существует одна-единственная забота: некоторые стремятся вновь захватить власть, другие — окончательно закрепить изгнание тиранов. Большинству при таких
d обстоятельствах всегда кажется правильным советовать то, что причинит врагам наибольшее зло, а друзьям — наибольшее благо. А ведь это вовсе не так легко — сделав другим много зла, самому не испытать в свою очередь то же самое. Чтобы ясно это увидеть, незачем далеко ходить: надо взглянуть на то, что теперь произошло здесь, в Сицилии, когда одни стали стремиться причинить другим зло, другие же — от него защититься.

е Если бы вы захотели поведать об этом другим людям, вы оказались бы при этом хорошими наставниками. Ведь можно сказать, что нет недостатка в подобном

рода примерах. Таких же примеров, которые были бы полезны для всех — и для врагов, и для друзей — или которые принесли бы тем и другим наименьшее количество зла, нелегко найти, а найдя, применить в жизни. Поэтому такого рода совет и попытка дать объяснение подобны благочестивой молитве. Пусть же это действительно будет своего рода молитвой — ведь всегда надо начинать с богов, когда ты хочешь что-то сказать или обдумать, — и пусть эта молитва достигнет цели, послужив нам следующим поучением.

С того времени, как началась война, и до сегодняшнего дня вами и вашими врагами правит, можно сказать, одна семейная клика, которой давно уже отдали власть ваши отцы, когда создалось крайне тяжелое положение: в то время над эллинистической Сицилией нависла угроза полного разграбления карфагенянами и установления состояния варварства. Тогда-то они и выбрали Дионисия¹ — юного и воинственного: ему приличествовало заниматься ратным делом. А в качестве старшего советника они поставили при нем Гиппарина² и назвали их, в качестве спасителей Сицилии, полномочными, как говорится, тиранами. Хочет ли кто считать, что причиной тогдашнего спасения было божественное соизволение и само божество, либо он будет думать, что причиной этой была доблесть начальников или то и другое, соединенное с храбростью граждан, — пусть каждый думает, как он желает: во всяком случае для тогдашнего поколения так явилось тогда спасение. Поскольку эти вожди себя так проявили, то все, естественно, испытывали по отношению к своим спасителям благодарность. Если же впоследствии тираническая власть неправильно воспользовалась этим даром государства, то за это она уже несет наказание и долго еще будет нести. Какие же из этих наказаний следовало бы назвать справедливо вытекающими из создавшегося положения? Если бы вы легко могли заставить их отправиться в изгнание, без больших опасностей и трудов, или же если бы они легко могли вновь захватить власть, то было бы совершенно лишним советовать вам то, что я собираюсь сказать. Теперь же и вам, и им надо задуматься и вспомнить, сколько раз то вам, то им уже убалася надежда и каждый думал, что вот теперь, можно сказать, уже очень немного остается, чтобы все вышло согласно желанию. Но как раз это немногое всякий раз оказывалось причиной великих и бесконечных бед, кото-

рым никогда не видно было конца; наоборот, то, что казалось концом и завершением какого-то предприятия, сменялось началом вновь возникающих дел, и от этого круговорота всему — и власти тиранов, и народной партии — грозила полная гибель. В конце концов получится — и это очень вероятно, хотя и ужасно, — что эллинское наречие умолкнет по всей Сицилии, подпавшей под власть и господство финикийцев или оников³. Поэтому всем эллинам надо изо всех сил стараться найти против этого средство.

Если кто может предложить что-то более правильное и лучшее, чем то, что собираюсь сказать я, то, выставив это на общее обсуждение, он по справедливости был бы назван благодетелем эллинов. Но то, что мне теперь в какой-то мере кажется нужным сказать, я попытаюсь сейчас объяснить со всей откровенностью, пользуясь доступным для всех справедливым словом. Я обращаю свой совет наподобие третейского судьи к вам обоим — к тем, кто пользуется тиранической властью, и к тем, кто находится под властью тиранов. Совет мой тот же, что и прежде, когда обращался к каждому из вас в отдельности. И теперь моя речь, обращенная к любому тирану, будет советом всячески избегать имени тирана и тиранического образа действий, а если это возможно, то и переменить власть тирана на царскую власть. А что это возможно, на деле доказал Ликург — муж мудрый и достойный: увидев, что родственная ему семья в Аргосе и Мессении от царской власти перешла к власти тиранов и, погубив себя, тем самым погубила и оба города, он, боясь за собственное свое государство и собственную семью, ввел в качестве лекарства власть геронтов, а как спасительное ограничение царской власти — должность эфоров⁴, и вот уже в течение стольких поколений царская власть сохраняется там со славой, так как закон стал верховным владыкой над людьми, а не люди — тиранами над законами. И моя эта речь обращена ко всем: с одной стороны, тех, кто стремится к тиранической власти, она призывает отказываться от такого стремления и бежать без оглядки от этого счастья ненасытно алчных и неразумных людей, а кроме того, попытаться превратить тиранию в царскую власть и подчиниться царственным законам, получив высочайший почет из рук добровольно дающих его людей и от законов; с другой стороны, тем, кто стремится к свободному образу жизни и старается избегнуть рабского ярма, которое

по существу является злом, я бы посоветовал, чтобы из-за ненасытной и несвоевременной любви к свободе они не впали в болезнь своих предков, которой те страдали из-за чрезмерной вольности, так как были охвачены умеренной любовью к свободе. Ведь до прихода к власти Дионисия и Гиппарина ⁵ сицилийцы жили, как они тогда думали, очень счастливо, проводя свой досуг в роскоши и одновременно начальствуя над своими начальниками. Они-то и побили камнями десять стратегов ⁶, бывших до Дионисия, не предав ни одного из них суду по закону, — конечно, чтобы не подчиниться никакому властителю, даже тому, кто властвует по праву или в силу закона, и чтобы в любом случае быть свободными. За это-то у них и появилась власть тиранов. Как подчинение, так и свобода, если они переступают границы, есть величайшее зло, в надлежащей же мере это — великое благо: рабское подчинение богам нормально, людям же — ненормально. Для разумных людей закон — бог, для неразумных — удовольствие.

355

Раз это так, я предлагаю друзьям Диона передать всем сицилийцам то, что я им советую, как общий совет мой и его; я буду, так сказать, переводчиком того, что он, если бы был жив и мог говорить, сказал бы вам теперь сам. Как же, скажет кто-нибудь, звучит совет Диона в отношении нынешнего положения дел? А вот как: «Прежде всего установите, сиракузяне, законы, которые, как вам будет ясно, направят ваши мысли не на наживу и богатство, на что прежде толкало вас вождение; а так как существуют три вещи — душа, тело и деньги, то в ваших законах вы должны выше всего ставить совершенство души, на втором месте — совершенство тела, так как оно стоит ниже души, а на третьем и последнем — почтение к богатству, так как оно — слуга и души, и тела. Постановление, которое бы это учредило, могло бы считаться у вас правильно изданным законом, делающим истинно счастливыми тех, кто им управляется ⁷. А положение, что только богатые счастливы, ничего не стоит: это — глупое мнение женщин и детей, и те, кто его придерживается, сами становятся женщинами. А что я правильно вам советую, вы поймете на деле, если испробуете то, что ныне сказано о законах. А это, по-видимому, самый надежный пробный камень для всего. Когда вы примете такие законы, — ведь Сицилия находится в опасном положении, поскольку вы не имеете достаточной власти и сами не на-

ходите в достаточном подчинении, — было бы справедливо и, конечно, полезно для вас всех пойти средним путем — и для тех, кто хочет избежать тягот власти, и для тех, кто вновь жаждет такую власть обрести. Ведь их предки некогда — великое дело! — спасли эллинов от варваров, и им мы обязаны тем, что можем теперь вести речь о государственном строе. Если бы им тогда это не удалось, то не осталось бы ни надежды, ни возможности говорить ни о чем подобном. Так вот теперь для одних c будет свобода при царской власти, для других — подотчетная царская власть. Законы будут владыками как над гражданами, так и над самими царями, если они поступят в чем-то противозаконно. Приняв все это во внимание, без задних мыслей и по здоровому размышлению установите с божьей помощью царскую власть; царем сначала поставьте моего сына в благодарность за двойную услугу — мою и моего отца: он в те времена освободил государство от варваров ⁸, я же теперь дважды освободил его от тиранов, чему вы сами являетесь свидетелями. Затем поставьте царем сына Дионисия, носящего то же имя, что мой отец ⁹, — в благодарность за оказанную нам сейчас помощь и за его честный нрав: он, сын отца-тирана, добровольно дал свободу городу, обретя тем самым для себя и своего рода вечную славу вместо мимолетной и несправедливой тирании. В-третьих, надо пригласить царем сиракузян, с его добровольного согласия и по добровольному призыву городом, того, кто сейчас b стоит во главе вражеского войска, — Дионисия, сына Дионисия ¹⁰, — если он пожелает изменить свое положение на царское из страха перед изменчивой судьбой, из жалости к родине и к оставленным без ухода родным святыням и могилам, а также чтобы из-за честолюбия не погубить всего окончательно на радость варварам. Имея трех царей, вы либо дадите им полномочия лаконских царей ¹¹, либо, лишив их этих полномочий, договоритесь с ними и учредите правление таким образом, как об этом было говорено вам раньше. c Послушайте же это еще раз.

Если род Дионисия и Гиппарина захочет для вас и ради спасения Сицилии положить конец теперешним бедствиям, приняв и для себя, и для своего рода и на нынешние, и на будущие времена этот сан, вы на этих условиях, как было сказано раньше, пригласите старцев, каких они пожелают, и дайте им полномочия определять условия мира — будут ли эти старцы из местных жите-

лей, или чужеземцы, или те и другие вместе, причем количество их будет такое, относительно которого они между собой согласятся. Пусть эти старцы, придя, прежде всего издадут законы и установят такое правление, в котором царям будет дано полномочие принесения жертв и любое другое, приличествующее бывшим благодетелям государства. А руководителями в вопросах войны и мира надо сделать стражей законов, числом тридцать пять, избрав их совместно с народом и советом. Другие судебные обязанности пусть будут в руках других, но смерть и изгнание пусть присуждаются этими тридцатью пятью стражами¹². В дополнение к этим пусть будут избраны другие судьи, каждый раз из числа должностных лиц прошлого года — одного от каждой должности, проявившего себя лучшим и самым справедливым. Все они в течение следующего года должны служить судьями в делах, касающихся смерти, заключения и изгнания граждан. Царю же в делах подобного рода не полагается быть судьей, потому что он, являясь жрецом, должен быть чистым от убийств, изгнаний и заключений. 357

Вот что я думал для вас установить, пока я был жив, и желаю этого и теперь. И если бы эринии, в облике моих друзей¹³, не помешали этому, я, одержав вместе с вами верх над врагами, все бы устроил так, как задумал, а затем, если бы все пошло, как было задумано, заселил бы всю остальную Сицилию, отняв у варваров ту часть, которой они теперь владеют, в том случае, если только они не воевали против власти тиранов во имя общей свободы; и прежних жителей эллинских поселков я вернул бы в их старые, отеческие жилища. Это я вам всем советую и сейчас совместно обдумать, исполнить и всех призывать на эти дела, а того, кто не захочет участвовать, считать от имени государства врагом. Все это выполнимо: оно прочно заключено одновременно в двух душах и подготовлено у тех, кто, поразмыслив, может принять наилучшее решение. А тот, кто считает это невыполнимым, видно, не очень силен умом. Под двумя душами я подразумеваю душу Гиппарина, сына Дионисия, и душу моего сына¹⁴. Если они будут между собой согласны, то я думаю, что и все другие сиракузяне, которые, несомненно, пекутся о своем городе, будут заодно с ними. Итак, воздав молитвой должное всем богам, а равно и другим, кому это следует после богов, мы мягко и ласково убеждаем и приглашаем друзей и недругов: не

отступайтесь, прежде чем не приведете сказанного нами теперь к благополучному и явно счастливому концу, — так, как будто наши слова — это божественное сновидение, посылаемое тем, кто уже бодрствует».

IX

Платон Архиту из Тарента¹ желает благополучия

К нам прибыли люди от Архиппа и Филонида² с письмом, которое ты им вручил; они передали мне новости о тебе. С делами, касающимися вашего города, они покончили без труда, ведь они не были очень запутанными; что касается тебя, то они рассказали мне о твоём недовольстве: ты не можешь избавиться от беспокойств и хлопот по общественным делам. Конечно, самое приятное в жизни — заниматься собственными делами, особенно если кто избрал для себя такую долю, как ты; это совершенно ясно. Но тебе надо подумать о том, что любой из нас не принадлежит самому себе: на одну часть нашего существа рассчитывает отечество, на другую — наши родители, на третью — иные друзья; многое нужно уделить обстоятельствам, захватывающим нашу жизнь. Когда отечество призывает заняться его делами, было бы странно, конечно, не послушаться этого призыва, ведь в таком случае надо освободить место и предоставить поле действия дурным людям, которые далеко не с самыми добрыми намерениями приступают к общественным делам. Но довольно об этом.

Что касается Эхекрата³, то мы и теперь заботимся о нем, и будем заботиться в будущем — как ради тебя и его отца Фриниона, так и ради самого юноши.

X

Платон Аристодору¹ желает благополучия

Я узнал, что ты — один из самых близких друзей Диона и теперь, и был прежде. Ты всегда обнаруживал высокую мудрость в вопросах, касающихся философии. Постоянство, верность и искренность — вот что я называю подлинной философией, другие же качества, относящиеся к другим вещам, такие, как хитрость и изворот-

ливость, кажется мне, я определю правильно, если дам им имя неискренней изощренности.

Ну, будь здоров и придерживайся тех убеждений, которых ты держишься и теперь!

XI

Платон Лаодаманту¹ желает благополучия

Я и прежде писал тебе, что в отношении всех дел, о которых ты говоришь, было бы очень важно, чтобы ты сам прибыл в Афины; но так как ты считаешь, что это невозможно, то лучшим после этого было бы, чтобы прибыл к тебе я или Сократ², как ты и пишешь в своем письме. Но сейчас Сократ страдает от дизурии. Для меня же, если бы я прибыл к вам, было бы весьма неприлично, если бы я не выполнил того, из-за чего ты меня приглашаешь. Сам я не очень надеюсь, что мне это удастся, а потому требуется другое, длинное письмо, которое могло бы тебе все это объяснить. Сверх того, из-за моего возраста я не имею физических сил, достаточных для того, чтобы путешествовать и подвергаться опасностям, которые встречаются и на земле, и на море, а теперь все исполнено опасностей при путешествиях. Однако я могу дать совет тебе и твоим колонистам. То, «что я скажу», по выражению Гесиода, покажется «очень простым», но если подумать, — то очень сложным³. Ведь если думают, что с изданием законов, как бы хороши они ни были, уже устроено государство, то это совсем неверно в том случае, если во главе государства не стоит влиятельный человек, заботящийся о нем и о его повседневном образе жизни, о том, чтобы он был разумным и мужественным у рабов и у свободных. Это удастся, если есть люди, достойные такой власти. Но если вы нуждаетесь в ком-то, кто бы вас воспитал, то, думается мне, у вас нет ни того, кто станет воспитывать, ни тех, кто захочет его воспитания, и вам остается только молить богов. Ведь примерно таким же образом были основаны и впоследствии хорошо управлялись и прежние города, когда под влиянием совершавшихся великих событий — на войне ли или при других жизненных обстоятельствах — являлся достойный муж, обладатель великой силы. Итак, решительно следует заблаговременно позаботиться об этом и одновременно подумать о том, о чем я сказал, но не дей-

ствовать неразумно, полагая, что все устроится само собой. Желаю успеха.

XII

*Платон Архиту из Тарента¹
желает благополучия*

Присланные тобой сочинения² я получил с удивительной радостью, и нельзя даже выразить, как я восхищался их автором. Человек этот показался мне достойным своих древних предков. Говорят, что родом они — мирийцы, это были те троянцы, которые выселились при Лаомедонте³, — люди достойные, как показывает предание.

Что касается моих заметок, о которых ты пишешь в послании, то они еще не совсем готовы, однако я тебе их выслал в таком виде. Относительно же того, как их надо беречь, мы оба с тобою единодушны, так что не стоит тебя особо об этом просить.

XIII

360

*Платон Дионисию, тирану Сиракуз¹,
желает благополучия*

Пусть начало этого письма будет для тебя знаком, что оно — от меня. Угощая как-то локрийских юношей и сидя далеко от меня, ты встал, подошел ко мне и благосклонно произнес что-то удачное, как это показалось тебе и мне, и тому, кто возлежал за столом рядом со мной (а это был один из местных красавцев). Он сказал тогда: «И верно, Дионисий, ты получил от Платона большую пользу в отношении философии!» А ты на это ответил: «И во многих других отношениях; да и из самого того приглашения, что я послал ему, я тоже тотчас же извлек пользу». Вот это и надо нам сохранить, чтобы взаимная наша польза все больше и больше множилась. И вот я, содействуя этому, посылаю тебе кое-что из пифагорейских работ и из различий², а также человека, согласно прежнему нашему решению, которого вы — ты и Архит, если он находится у тебя, — сможете использовать. Имя ему Геликон, родом он из Кизика и является учеником Евдокса³, отлично осведомленным в его учении. Кроме того, он был в близких отношениях

с кем-то из учеников Исократы, а равно и с Поликсеном, одним из друзей Бризона ⁴. И что особенно редко у таких людей, он очень приятен в обращении и, видимо, обладает неплохим характером; так что его даже можно было бы счесть поверхностным и легкомысленным. Говорю я ^d это с опаской, потому что выражаю свое мнение о человеке по существу своему неплохом, но легко меняющемся (за исключением отношения к очень немногим людям и вещам). Поскольку у меня были опасения относительно этого человека и я не очень ему доверял, я сам при встречах с ним наблюдал его и расспрашивал его сограждан, и никто ничего дурного мне о нем не сказал. Но смотри сам и будь осторожен. Особенно же, если у тебя будет хоть немного свободного времени, поучись у ^e него и вообще с ним пофилософствуй. В противном случае пошли кого-нибудь к нему в обучение, чтобы ты, спокойно учась у того на досуге, усовершенствовался в философии и прославился, и тогда польза, которую ты получаешь от общения со мной, не убудет. Но довольно об этом.

Что касается того, что ты поручил мне тебе прислать, ³⁶¹ то я это сделал, и Лептин везет тебе Аполлона, созданного молодым и талантливым художником, имя которому Леохар ⁵. Было у него и другое произведение, на мой взгляд очень изящное; я купил его, желая подарить твоей жене ⁶ за то, что она ухаживала за мной и больным, и здоровым, делая это из уважения ко мне и к тебе. Так вот, передай это ей, если ты не сочтешь нужным поступить как-то иначе. Твоим детям посылаю двенадцать кувшинов сладкого вина и два кувшина меда. Сушеные ^b смоквы, когда я приехал, были уже убраны. Миртовые ягоды, отложенные для тебя, загнили, но я вновь постараюсь заботливо их заготовить. О раскаде же тебе расскажет Лептин.

Деньги на все эти покупки и некоторые налоги в пользу государства я взял у Лептина, говоря ему то, что, казалось мне, было наиболее прилично для нас и соответствовало истине, а именно, что это были наши деньги, которые мы истратили на левкадийский корабль, приблизительно 16 мин; именно эту сумму я взял, а взяв, истратил на себя и на то, что я вам посылаю. ^c

Далее выслушай относительно денег, как относительно твоих, которые находятся в Афинах, так и относительно моих. Твоими деньгами, как я тогда тебе говорил, я буду пользоваться так же, как и деньгами других моих

близких; пользуюсь же я ими мало, лишь насколько это кажется необходимым, справедливым или приличным, как мне, так и тому, у кого я беру.

Теперь же вот что со мной случилось. У меня есть д дочери моих племянниц, умерших в те времена, когда я не был увенчан, хоть ты и приказывал ⁷. Их четыре, и одна из них уже в брачном возрасте, второй восемь лет, третьей немного более трех лет, а четвертой нет еще года. Мне и моим близким надо их выдать замуж и тем, до замужества которых я доживу, дать приданое; к тем, до чьего замужества я не доживу, это не относится. Если бы отцы их были богаче меня, то приданое давать было бы необязательно. Но получилось так, что я из них самый богатый, да и матерей я выдал замуж как с помощью других, так и при поддержке Диона. Первая из дочерей моих племянниц выходит замуж за Спевсиппа, являясь для него дочерью его сестры ⁸. На все это мне нужно не более тридцати мин ⁹, ведь приданные эти у нас скромные. Да еще если умрет моя мать ¹⁰, то потребуются не более десяти мин для устройства ее могилы. При таких обстоятельствах вот каковы примерно мои сейчас нужды. Если же придется сделать какой-то еще расход, личный или государственный, связанный с приездом к тебе (а он потребует, как я тогда говорил), то я буду изо всех сил стараться, чтобы он был возможно меньше; а если я какого-то расхода не смогу покрыть, пусть это будет уже за твой счет.

Затем я опять-таки хочу поговорить с тобой о тратах из тех твоих денег, что находятся в Афинах. Прежде всего если мне будет нужда истратить их на хорегии ¹¹ или на что-либо другое подобное, то ни один твой приятель, как я и думал, их не даст; затем если для тебя очень важно, чтобы истраченное принесло тебе пользу, а не истраченное, но отложенное на время, пока кто-нибудь от тебя не придет, означало бы вред, то дело это и трудное и позорное для тебя. Ведь я уже испытал это на себе, послав Эраста к Андромеду из Эгины ¹²; ты приказывал у него, твоего приятеля, взять все, что мне нужно, я же хотел послать тебе больше того, что ты у меня просил. Однако он вполне естественно с человеческой точки зрения ответил, что и то, что он раньше истратил для твоего отца, он с трудом получил, и теперь мог бы дать только немного, что же касается более значительной суммы, то ее он не даст. Поэтому я и взял то, что мне было нужно, у Лептина. И потому вполне заслуженно

надо воздать Лептину хвалу — не за то, что он дал, но за то, что он дал так охотно, и за все остальное, что он говорит о тебе и делает для тебя; можно несомненно сказать, что он тебе друг. Ведь мне необходимо сообщать тебе как подобные вещи, так и противоположные им, чтобы ты знал, как, по моему мнению, тот или другой человек к тебе относится. Что касается твоих денег, то я буду с тобой полностью откровенен; это и честно, и вместе с тем я могу это делать, по опыту зная тех, кто тебя окружает: они всегда тебе говорят, что если они считают нужным произвести траты, то не хотят тебе об этом сообщать, опасаясь вызвать твой гнев; приучи же их и заставь сообщать тебе как об этом, так и о многом другом; следует, чтобы по возможности ты сам все знал и был судьей во всех этих делах, не уклоняясь от знания о них. Ведь для твоей власти это будет лучше всего. Правильно произведенные траты и правильно выплаченные долги — это во всех отношениях хорошее дело; годится это и для самого приобретения денег, как ты говоришь об этом сейчас, да и скажешь в будущем. Пусть же не клеветают на тебя перед людьми твои доброхоты, ведь нет ничего хорошего и полезного для твоего доброго имени в том, чтобы казалось, что с тобой неприятно иметь дело.

После этого я скажу тебе о Дионе. Обо всем другом я не могу говорить, пока от тебя не придут письма, как ты обещал; но того, о чем ты не хотел, чтобы я упоминал при нем, я и не упоминал, и не обсуждал с ним, хоть и пытался узнать, тяжело ли или легко он перенесет, если это случится. Мне показалось, что он будет очень расстроен, если это произойдет ¹³. Вообще же, как мне кажется, Дион в словах и на деле настроен в отношении тебя спокойно.

Кратину, брату Тимофея ¹⁴, моему товарищу, давай подарим панцирь из вооружения гоплитов — тонкий, какой носят пехотинцы, дочерям же Кебета — три хитона в семь локтей, не из дорогого аморгского льна, а из сицилийского. Ты хорошо знаешь имя Кебета, он описан в сократовских диалогах беседующим вместе с Симмием ¹⁵ о душе с Сократом, он человек всем нам близкий и благожелательный.

Относительно знака, какие письма я посылаю тебе всерьез, а какие нет, я думаю, ты помнишь, однако прими это особенно к сведению и будь к этому внимателен. Ведь меня заставляют писать тебе многие, которым не-

легко напрямик отказать. Итак, в серьезных письмах вначале упоминается бог, боги же — в несерьезных.

Твои послы просили меня писать тебе, и, конечно, это естественно; они весьма усердно повсюду восхваляют тебя и меня, особенно Филарг¹⁶, который раньше страдал от болезни руки. И Филед, прибывший от Великого царя, говорил о тебе¹⁷. Если бы мое письмо не было таким длинным, я бы тебе написал, что именно он говорил, а теперь спроси об этом Лептина.

Если ты пошлешь панцирь или что-либо еще из того, о чем я тебе пишу, передай это через кого пожелаешь либо отдай это Териллу¹⁸; он — человек из числа тех, кто всегда находится в плавании, близкий мне во многих отношениях, но особенно приятный мне в философии. Он зять Тейсона¹⁹, который тогда, когда я отплыл, был правителем города.

Будь здоров и занимайся философией и более молодых людей побуждай к тому же. Твоих сотоварищей по игре в мяч приветствуй от моего имени. Поручи всем, и особенно Аристокриту²⁰, если от меня придет к тебе какое-либо сочинение или письмо, позаботиться, чтобы ты возможно скорее узнал об этом, и напомнить тебе, чтобы ты подумал о том, что будет тебе написано. Не забудь теперь отдать деньги Лептину и отдай их возможно скорее, чтобы и другие, глядя на это, еще охотнее были бы готовы служить нам.

Ятрокл, который тогда вместе с Миронидом²¹ был отпущен мной на свободу, плывет теперь к тебе вместе со всем тем, что я посылаю. Назначь ему какое-нибудь жалованье, расположи его к себе как следует и, если найдешь нужным, используй его. Что же касается письма, подлинного или его списка, то сохрани его и оставься тем, кто ты есть.